

Тернер Джек.

Дикость и дикая

природа

1996, источник: [здесь](#). Сокращенный перевод с английского Киевского эколого-культурного центра и Е.Б. Мигуновой. Обсуждаются философские и этические вопросы защиты дикой природы и ее главных ценностей — свободы и дикости.

- [Борейко Владимир. Джек Тернер и его радикальные взгляды по защите дикой природы](#)
- [Введение](#)
- [Абстрактное дикое: Проповедь](#)
- [Экономика против дикой природы](#)
- [В дикости состоит сохранение мира](#)
- [Дикость и защита дикой природы](#)
- [Аура дикой природы](#)

Борейко Владимир. Джек Тернер и его радикальные взгляды по защите дикой природы

Джек Тернер (род. в 1943 г.) — один из известных современных американских природоохранников и экофилософов, активный защитник дикой природы. Более 25 лет назад Тернер, будучи преуспевающим профессором философии Корнельского университета, оставил преподавательскую и научную деятельность и подался в дикую природу. В настоящее время он работает инструктором-гидом в национальном парке Гранд Тетон, много путешествует по горам мира. Как автор нашумевшей книги «Абстрактное дикое» (1996) (в русском переводе «Дикость и дикая природа»), сделал огромный вклад в развитие идеи дикой природы.

Джек Тернер — продолжатель радикальной природоохранной традиции, у истоков которой стояли такие известные американские экофилософы и защитники природы как Генри Торо, Джон Мюир, Олдо Леопольд, Роберт Маршалл, Дэвид Броуэр, Эдвард Эбби и Гарри Снайдер.

Конечно, найдется немало читателей, которые упрекнут Тернера в излишнем радикализме, чрезмерном морализаторстве, неуважении к науке и экономике. Но может быть в этом и состоит задача современных экофилософов: отрезвлять, подвергать сомнению устоявшиеся в природоохране стереотипы, критиковать человеческий прагматизм и рационализм, смело ставить вопросы, требующие своего обсуждения...

Стоя на радикальных позициях глубинной экологии, Джек Тернер категорически против любого вмешательства, любого контроля и управления дикой природой: «Почему бы не выделять обширные области дикой природы, где мы ограничиваем все формы человеческого вмешательства: никаких природоохранных стратегий, никакой спроектированной области дикой природы, никаких дорог, никаких троп, никакого спутникового наблюдения, никаких полетов на вертолетах... Пусть любая среда обитания, которую мы можем сохранять, как можно больше вернется к собственному порядку. Пусть область дикой природы снова станет белым пятном на наших картах».

Тернер называет себя «воинствующим экологическим фундаменталистом», говорит о необходимости нашей эмоциональной связи с дикой природой, о значении ритуальности и

священности в обращении к ней.

По мнению экофилософа, человеку мешают научиться любить и уважать дикую природу следующие причины: доверие научным и техническим авторитетам; недостаток личного опыта; склонность к экономике и экономической мысли.

Тернер остро критикует современные американские национальные парки, где главные принципы — контроль, управление и организация отдыха, а совсем не защита свободы дикой природы. Такая контролируемая дикая природа, по его мнению, фикция.

«Мы не можем сохранять дикую природу как сохраняют клубнику — собранную, сваренную и закрытую в банки. Сохранять дикую природу — означает сохранять ее автономию и свободу».

Остро критикует Тернер современный прогматический подход в природоохране: «Для меня эта новая «этика» охраны природы (основанная на экономике — В.Б.) отдает цинизмом. Как будто не сумев убедить и уговорить свою любимую, вы внезапно переключаетесь на наличные. Новые экономические сторонники охраны природы думают, что они являются рациональными; я думаю, они относятся к Матери-природе как к публичному дому... Я верю, что классическая экономическая теория и все теории, которые они предполагают, разрушают волшебное кольцо жизни».

Скептически относится экофилософ и к гипертрофированной роли науки: «Любое знание имеет свою тень. Прогресс биологических знаний о природе одновременно продвигает вперед процесс нормализации и контроля, который вызывает эйфорию дикости, той дикости, что возникает из собственного порядка природы, являющегося смыслом заповедания».

По мнению Дж. Тернера, наука и политика существуют для контроля управления дикой природой. Вместо них нам нужна новая экологическая мораль, основанная не на контроле над дикой природой, а на ее свободе, естественности, хаосе и путанице.

И с этим нельзя не согласиться.

Введение

Торо сказал, что он родился как раз в нужное время, и любой, кто любит дикую землю сегодня, должен согласиться с тем, что мы ощущаем то же самое. Мы живем среди утрат и ярости, мы пишем элегии и полемики, мы помним более дикую природу — и воспоминания об этом царят над настоящим, как неослабевающая ностальгия, которой мы часто предаемся.

Несомненно, мы можем защищать то, какой была природа сорок лет тому назад, при помощи чего-то большего чем реклама старых добрых дней. Но если это правда, мы должны обратиться к вопросам более глубоким, чем разрушение дикой природы, сред обитания и биоразнообразия, мы должны делать большее, чем описывать снова и снова опустошительные сплошные вырубki, утрату видов или опасные химикаты. Мы должны исследовать процессы в самом сердце современности, которые пока только смутно понимаются, процессы, которые не только разрушают дикое, но и уменьшают наш опыт дикого.

Материальное воздействие современности на дикую землю является очевидным и оно породило мощное движение в защиту того, что остается от дикой природы и биоразнообразия. Подобно большинству людей, которых я знаю, я поддерживаю это движение; я подписываюсь на экологические журналы и время от времени пишу письма гневного протеста. Однако, я в первую очередь заинтересован в другом предмете, и эта книга не направлена на то, чтобы далее защищать ценность дикой природы или увеличивать огромное количество литературы, документирующей воздействие на окружающую среду современной цивилизации. Для меня все это является аксиоматичным. Вместо этого, я озабочен сохранением власти дикой природы, или более точно, авторитета ее присутствия в нашем опыте и, следовательно, в структуре наших жизней.

Отрицательными героями в моей истории являются не обычные плохие парни — промышленники, владельцы ранчо, туристы или лесозаготовители, хотя они воплощают проблему. Нет: моими врагами являются абстракции. Абстракции, которые делают абстрактным даже дикое. В их число входят: (1) наш уменьшившийся персональный опыт природы; (2) наше предпочтение искусственных вещей, копий, подражания и суррогата, управляемыми инженерами и менеджерами вместо натурального; (3) наша растущая зависимость от экспертов для контроля и манипулирования природным миром, которого мы больше не знаем; (4) наша приверженность экономике, рекреации и развлечению за счет других ценностей; (5) однородность, которая уравнивает не только биоразнообразие, но также культурное и лингвистическое разнообразие, по мере того как западное мышление, восприятие, производство и общественная структура распространяются по всему земному шару, и (6) наше растущее игнорирование того, что мы утратили, пожертвовав нашей многомиллионнолетней близостью с природным миром.

Это более ужасные противники, чем ковбои или республиканцы. Столкнувшись с ними, я рассматриваю наши усилия сохранить дикую природу и биоразнообразие как простые паллиативные меры, когда то, в чем мы нуждаемся — это радикальная трансформация, которая дала бы новую оценку дикой земле — ее тайне, порядку и существенной гармонии. Более чем сто лет тому назад в своем эссе «Прогулка» Торо отметил, что «Нам надо говорить, что греки называли мир Kosmos, Красота или Порядок, но мы не понимаем ясно, почему они это делали». Это по-прежнему верно. Битва за дикую землю — это битва за авторитет этого порядка, будь это Kosmos, Дхарма, Дао или дикая природа; это битва против деформации человеческого «Я» в условиях современности, это битва, которая едва началась.

Моя собственная точка зрения на дикую природу происходит от моего опыта, полученного в ней, и приличного времени, проведенного с охотниками, рыбаками, натуралистами, исследователями, рейнджерами, мужчинами и женщинами из разнообразных других культур, художниками и дикими животными. У меня была великолепная возможность прожить год в «смешанных» сообществах людей, домашних животных и диких зверей. Летом обычным является присутствие обыкновенного и американского лося, вилорогого барана, оленя, черного медведя и орлов. Зимой то же самое является верным в отношении белохвостого оленя Коуза, рыжей рыси, голубей и пурпурной мухоловки. Во многом к ужасу некоторых из моих друзей, я даже наслаждался присутствием коров. Там всегда были койоты и вороны, собаки и кошки и человеческие существа, которые предпочитают природный мир — пусть даже ухудшившийся — городам. По ночам звезды сияют, как хрустальные бусины в черно-синем небе. Я не стал бы просить о большем.

Я читал каноническую литературу писателей о природе — Торо, Мюир, Маршал, Мурье, Бестон, Ван Дайк, Леопольд, Карсон, Эбби, Шепард, Матисен, Диллард, Лопес, Нельсон, Снайдер — на протяжении большей части своей взрослой жизни. Недавно книги Дианы Аккеман, Нейла Эверндена и Роберта Ричардсона повлияли на мое мышление. Наиболее важными были произведения и мысли учителей и друзей: Роберта Эйткена, Рене Аскинса, Франка Крейгхеда, Нельсона Фостера, Джима Гаррисона, Ханны Хинчмен, Тома Лпйона, Гари Начхана, Дуга Пикока, Гарри Снайдера и Терри Темпеста Вильямса. Значительно менее важным для меня был опыт природоохранной биологии, экологической журналистики, общественной политики в области окружающей среды и византийского мира философии в области окружающей среды, которые, как я полагаю, все представляют собой элементы «поверхностной» экологии.

Я верю в то, что более разумное отношение к природному миру должно положить конец нашему прислужничеству перед современностью, создав новые практики, которые изменят нашу повседневную рутину. Я также верю в то, что никакое разрешение кризиса, перед которым стоит дикая земля, не достигнет более чем незначительного успеха без интегрирования духовной практики в наши жизни. Любая духовная традиция, заслуживающая этого имени, учит уменьшению желания, и это желание во всех формах — простая жадность, алчность, накопительство, воля к власти, стремление к истине, лихорадка роста народонаселения, желание контроля, которые питают разрушение нашей некогда прекрасной планеты.

Однако, каким бы я ни был фундаменталистом, я не чист — это практика для святых. Мне нравится старая даосская пословица: «В слишком чистой воде не водится рыба». Я до сумасшествия люблю свой грузовой фورد. Я живу в одежде Goretex и Patagonia, трачу значительную часть своего времени, глядя в животных через цейсовский бинокль и поддерживаю контакт с собратьями писателями о природе по факсу и электронной почте. Я не верю в то, что современные удобства являются несовместимыми с сохранением дикого, потому что в моей жизни есть большое количество и того и другого.

Я на стороне медведицы гризли и двух ее детенышей в южном отроге Каньона Сноушу; пумы, прокладывающей себе тропу в моей любимой ложине Эскаланте; ворона, воркующего со мной, в то время, как я бреюсь на своем крыльце; клещей, которые цепляются ко мне каждой весной, когда я восхожу на Блектейл Батт; шелковых мотыльков Гловера, бьющихся о мое оконное стекло; крысы, которая живет в пещере, где я сплю, в седловине между большим и средним Тетонами и носится через мой спальный мешок по ночам; ветра, завывающего в горах; устойчивого вируса, который свалил меня с ног этой зимой; кристального света, который приветствует меня, когда я выхожу из дома; звездного неба. Я не вижу необходимости извиняться за свои предпочтения сколько-нибудь больше, чем извиняются за свои предпочтения те, кто предпочитает современную городскую культуру. Как сказал Торо, существует достаточно защитников цивилизации. Что нам сейчас нужно — это культура, которая глубоко любит дикую землю.

Абстрактное дикое: Проповедь

Тигры в ярости мудрее, чем обученные кони.

Вильям Блейк

У гор бывает много настроений. Даже под ясными летними небесами я требую, чтобы мои клиенты упаковывали с собой теплые вещи, чтобы подготовиться к худшему. Я проводник альпинистов и, подобно всем проводникам, я скептически настроен в отношении горной погоды. Мы соблюдаем местную поговорку. Только дураки и новички предсказывают погоду в Тетонах. Если у кого-то нет подходящей одежды — шапки или пары теплых штанов, я отправляю их в Орвиллз, соседний магазин армейского обмундирования, который продает дешевую шерстяную одежду. Один раз, однако, я отправил клиента за штанами, и он вернулся без них, хотя он не раскрыл этого до более позднего времени, когда восхождение довольно давно началось. Поскольку он был плохо подготовлен для нашего путешествия, я был раздражен и сказал об этом. Он ответил, что единственные штаны, которые имелись в Орвиллз, были старыми немецкими армейскими штанами, он не хотел бы носить немецкой армейской одежды.

Мой клиент был евреем. Он не дал ни дополнительных объяснений, ни перечня причин, а также не выразил ненависти. Его решение было внутренним, таким же личным, как соприкосновение ткани и кожи. Его действия демонстрировали своего рода кодекс: если справедливость была невозможна, то надо почтить утрату актами воспоминаний, актами, которые мало что значили в мире, но которые, если их поддерживать, могли бы иметь значение для самого себя, могли бы поддержать частичку самосознания. Отказаться прощать, лелеять свой гнев, напоминать другим. Этот кодекс был старомодным, даже библейским.

Я понимал своего клиента. Его убеждение противостоит моей тенденции терпеть все, принимать, забывать, прощать, мириться с жизнью, быть реалистичным, переживать наши собственные утраты. Мы принимаем жизнь с ядерным оружием, токсичными отходами, разлитой нефтью, насилием, убийством, голодом, смогом, расизмом, самоубийствами подростков, пытками, горами мусора, геноцидом, плотинами, мертвыми озерами и ежедневной утратой видов. Большую часть времени мы даже не думаем об этом.

Я также питаю отвращение к этой терпимости ко всему этому. Отказ моего клиента происходит от Холокоста. Мой начался с запруживания Глен Каньона реки Колорадо и ее притоков, особенно реки Эскаланте, и в частности ущелья Дэвиса, которое я посещал дважды в 1963 году, непосредственно перед тем, как оно было затоплено водами озера Пауэлл. Посетители сейчас живут в плавучих домах и катаются на водных лыжах в сотнях

футов над теми местами, где я впервые получил опыт дикой природы. Я разбил там свое сердце и я по-прежнему зол по этому поводу. Я зол из-за того, что Уоллес Стегнер и Эдвард Эбби будут кататься на лодке вокруг озера Пауэлла как гости университетов и правительства США. Я зол на своих друзей, которые занимаются подводным плаванием и катанием на каяках в его водах. Я считаю для себя обязательным злиться по этому поводу.

Некоторые найдут непристойным ставить рядом гибель шести миллионов человек и утрату одной экосистемы. Я не игнорирую разницу в масштабе, но я отказываюсь признать разницу в причинах. В выпуске «Хай Кантри Ньюз» за 11 сентября 1989 года имеются картины одиннадцати отрубленных голов пумы, сложенных в пирамиду. Вы можете видеть детали их лиц. Это индивидуумы. Ассоциация с лагерями смерти оказывается невольной. Это только одиннадцать из 250000 диких хищников, убитых правительством США в 1987 году. Никто не высказал своего протеста в Отделение по контролю за вредом, причиняемым животным при Департаменте Сельского Хозяйства США. Эти смерти, Холокост, уничтожение дождевого леса и смерть двух миллионов камбоджийцев имеют общий источник, источник, который заслуживает нашего внимательного изучения и гнева, но который мы не вполне постигли. Я думаю о нем как о тенденции в направлении однородности — ненависти к Другому — такой общей в современные времена, что ее уровни отличаются по категориям и масштабам.

Сейчас часто говорят (еще с тех пор, как Уэнделл Берри высказал это так ясно и энергично), что наш экологический кризис представляет собой кризис характера, а не политический или социальный кризис. Сказать это означает оставаться в нерешительности, потому что остается неясным, что именно представляет собой кризис современного характера, и поскольку характер является отчасти определенным культурой, то что именно представляет собой кризис современной культуры. Этот вопрос является важным для того, кто любит природный мир, но ответ не будет найден в произведениях Торо или Мюира, или экологов — глубинных или нет.

Хотя экологический кризис кажется новым (потому что он относится сейчас к «новостям»), он не является новым, новые только масштаб и форма. Мы теряли дикое мало по малу на протяжении десяти тысяч лет и прощали каждую утрату, а затем забывали. Теперь мы столкнулись с окончательной утратой. Хотя ни один другой кризис в человеческой истории не может с этим сравниться, наш комментарий является странно приглушенным и печальным, как будто катастрофа, которая происходила с нами, не была вызвана нами. Даже наиболее информированные и просвещенные продолжают есть пищу, пропитанную гербицидами, пестицидами и гормонами, носить пластиковую одежду (наш любимый полиэстер), покупать японские товары, несмотря на их ежегодное убийство дельфинов — все это время продолжая болтать на своем абстрактном языке об экологическом кризисе. Это отрицание, а за отрицанием стоит ярость, наиболее обычная эмоция моего поколения, но она подавляется, и мы остаемся безмолвными перед лицом зла, в самом деле большинство из нас больше не верят в зло.

Почему эта ярость является безмолвной, бессильным протестом, который не простирается за пределы ограничений нашего частного мира? Почему люди не высказываются, почему они не предпринимают чего-нибудь? Храбрость и сопротивление, проявленные племенем навахо на горе Биг Маунтейн, польскими рабочими, черными в Южной Африке и заметнее

всего китайскими студентами на площади Тянаньмынь заставляют большую часть протестов связанных с окружающей средой в Америке казаться поверхностными и неэффективными в сравнении с ними. За исключением нескольких членов организаций «Земля прежде всего!», «Морской пастух» и «Гринпис» мы являемся нацией экологических трусов. Почему? Потому что эффективный протест основан на гневе, а мы не являемся (сознательно) гневными. Гнев питает надежду и поддерживает восстание, он предполагает суждение, предполагает то, что вещи должны быть такими, какими они не являются, предполагает заботу. Эмоция остается наилучшим свидетельством веры в ценность. К сожалению, существует мало связи между нашими эмоциями и диким.

Мы боимся своего гнева, потому что это могло бы привести нас к тому, чтобы сделать что-нибудь незаконное, что таким образом поставило бы под угрозу нашу свободу. Этот страх является оправданным. Любая эффективная форма сопротивления общественному органу власти могла бы по необходимости стать уголовным преступлением; вспомним недавнюю историю шипования деревьев гвоздями. В определенном смысле насилие представляет собой проверку на священность, вопрос в том, что будет защищаться, а что нет, когда дойдет до крайности.

Исторически эффективное неповиновение встречалось насилием. В Америке, Индия, в 1919 году британцы хладнокровно убили 379 ненасильственных демонстрантов. В 1930 году они убили еще 70 в Пешаваре. Ненасильственные демонстранты, которые успешно противостояли немецким попыткам преподавать нацистскую идеологию в норвежских школах, были отправлены в концентрационные лагеря.

В настоящее время большинство из нас не испытывает утраты дикого так, как мы испытываем зубную боль. Вот в чем проблема. «Нормальная» дикая природа — дикая природа, которую знает большинство людей, представляет собой шараду областей, зон и планов менеджмента, который отправляет реальную дикую природу в забвение. Мы отрицаем это, принимая видимость вместо того, чтобы требовать реального. Это также является реальным, современная культура все больше становится культурой видимости и подобия.

Эффективные протесты основаны на альтернативном видении. К сожалению, у нас нет ясного видения альтернативы нашим современным бедствиям. Глубинная экология на сегодняшний момент не предлагает ясного видения. Наш основной источник Сешнз и «Глубинная экология» Деваля представляет собой смесь списков, принципов, деклараций, цитат, отрывки любой постижимой традиции и лакомые кусочки из китча Нового Века. Авторы не говорят ясно, что они имеют в виду, они не приводят энергичных аргументов в пользу того, во что они верят, они не создают ничего нового. Представленные как революционные трактаты, нацеленные на то, чтобы ниспровергнуть западную цивилизацию, эти произведения по глубинной экологии должны смутить нас своей интеллектуальной робостью. Сравним их с другими революционными работами — «Левиафан, социальный контракт», «Коммунистический манифест» — или с критическими мыслями недавних европейских мыслителей таких как Майкл Фулкот, Юрген Хабермас или Энтони Гидденс и мы получим некоторое представление о глубине существующей у нас путаницы. Глубинная экология является подозрительной. Ей не хватает страсти, которая является действительно

важной, принимая во внимание текущее состояние дел. Следует прочесть тезисы Маркса о Фейербахе, особенно одиннадцатый: «Философы только интерпретировали мир различными способами, смысл, однако, состоит в том, чтобы изменить его». Можем ли мы изменить его? Настолько ли сильно нас это заботит?

Апатия, благодушие, послушание и трусость не являются новыми для Америки. Социальные причины нашей апатии многочисленны: религиозные традиции, такие как христианство и буддизм, которые прославляют терпение и осуждают эмоции (в особенности гнев) и суждение; либеральная идеология, которая превозносит релятивизм, плюрализм, терпимость и прагматизм во внутренних делах; инертность любой социальной структуры, клаустрофобный плюрализм за маской индивидуализма и близорукую и эгоистичную любовь к целесообразности.

Существует также две частные причины для апатии и безразличия. Как отметил Маркузе двадцать пять лет тому назад, интеллектуальный и эмоциональный отказ идти «вместе со всеми» выглядит невротичным и бессильным. Даже находясь в точке, которая считается высшей в западной цивилизации, мы высмеиваемся за критику общественной патологии. Критикуйте жадность богатых, и вы будете «завистливым». Придите в ярость от убийства 100000 дельфинов каждый год, и вы будете «инфантильным». Протестуйте против подавления ФБР диссидентских организаций, и у вас «есть проблемы с властями». Осуждайте государство за то, что оно подвергло граждан радиации в результате ядерных испытаний, и вы будете «непатриотичным».

Чтобы обратить эту ситуацию вспять, мы должны стать настолько близки с дикими животными, с растениями и местами, чтобы наш ответ на их разрушение шел изнутри. Как будто мы видим домовладелицу, душащую нашего кота.

Если что-либо и подвергается опасности в Америке, то это наш опыт дикой природы. Это знания, которые только дикое может нам дать, знания, специфические для его опыта. Это ее дары нам, дикая природа ничем не отличается от музыки, живописи, поэзии или любви: мы признаем изобилие и стараемся реагировать с благодарностью.

Проблема состоит в том, что мы больше не знаем, каковы эти дары. В своих усилиях выйти за пределы антропоцентрической защиты природы, подчеркнуть ее внутреннюю ценность и право существовать независимо от нас, мы забываем о взаимности между диким в природе и диким в нас самих, между знанием дикого и знанием себя, которая является центральным для всех примитивных культур. Поскольку значение дикого забыто, поскольку имеющий к нему отношение опыт утрачен, мы злоупотребляем этим словом, буквально употребляем его во зло. Дикость и жестокость группового изнасилования сейчас называется «одичанием» (англ. wilding), а в убежищах «Нового Времени» люди искали «дикого человека внутри себя», сидя в грязи и стуча в барабан.

Почему мы ассоциируем дикарское, жестокое с диким? Дикарство природы бледнеет и исчезает по сравнению с дикарством человеческого действия. Самые цивилизованные нации на планете убили от шестидесяти до семидесяти миллионов граждан друг друга на временном отрезке в тридцать лет с начала Первой Мировой войны до конца Второй

Мировой войны. Данте, Шекспир, Гете, Кант, Руссо, Деген, Милл, Бетховен, Моцарт, Мане, Башо, Ван Гог и Хокусай ничего не изменили. Господство закона, прав человека, демократии, суверинитет наций, либерального образования, научного метода и присутствия Императора-Бога ничего не изменили. Протестанство, католицизм, греческое и русское православие, буддизм, синтоизм и ислам ничего не изменили. Как мы можем в теперешний момент истории думать о гризли или о волке как о дикаре? Зачем смеяться над идеей о благородном дикаре, когда мы не открыли ни одного дикаря более дикого, чем цивилизованный человек?

Самый легкий способ получить немного из опыта того, на что было похоже дикое, состоит в том, чтобы отправиться ночью в одиночку в большой лес. Это подобно определенным техникам медитаций, особенно «шикантаза», практика дзен секты Сото. Неслучайно, что лама Говинда верил, что медитация возникает среди охотничьих культур на подножьях Гималаев; неслучайно, что племена Балти и Голок обращаются с домашней утварью, подобно мастерам чайной церемонии. Когда находишься в одиночестве в природном мире, время становится более плотным, обоняние и звук и осязание заново утверждают себя. Мир является остро чувственным. В подлинной дикой природе мы испытываем это большую часть времени даже при ясном дневном свете. Бдительные, внимательные, буквально «полные внимания». Не из-за принципов, но из-за чего-то очень старого.

Большинство американцев не знает опыта дикого. Мы окружены национальными парками, областями дикой природы, заказниками для диких животных, святынями и убежищами. Мы наводнены коммерческими образами дикости: книжным чтением, календарями, открытками, постерами, футболками и картами местности. Существуют фильмы о природе, подробная библиография книг о природе утомила бы компьютер и сотни журналов о природе с любой сферой интересов, которую можем себе представить: журнал о природе для юппи, географические журналы, философские журналы, научные журналы, экологические журналы, политические журналы.

Из этого мы делаем вывод, что знания и опыт дикой природы современным человеком являются обширными. Но это не так. Скорее то, что у нас есть — это широкий опыт очень сокращенного списка животных или мест в дикой природе — карикатура на прежних самих себя. Или мы расширили непрямой опыт дикой природы, опосредованной через фотографические образы и письменное слово. Но это не опыт дикого, не широкий контакт.

Национальные парки были созданы туризмом и для туризма, и они подчеркивают то, что интересует туриста — живописное и необычное. Они управляются с вниманием к двум целям: развлечению и сохранению ресурсной базы для развлечений. Большинство посетителей редко выходят из своих автомобилей, кроме как для того чтобы поесть, поспать или сходить в сортир. В национальном парке Гранд Тетон 93 процента посетителей никогда не посещали глубинки. Если посетители все-таки делают другие остановки, то это происходит в отведенных живописных «пейзажах» или образовательных экспозициях, представляющих любопытные факты — названия пиков, немного истории, или гораздо реже для пассивной рекреации, поездки в лодке или организованному путешествию по природе.

Ничто из этого не является случайным. Это результат тщательно продуманных планов менеджмента, которые направляют поток туристов в соответствии с максимальной полезностью — полезностью, определяемой целями развлечения, эффективности и сохранения ресурсов.

Проблема не в том, что люди делают в парках, но в том, что их не поощряют или не дают делать. Никого, например, не поощряют восходить на горы, совершать походы пешком или в каноэ. Тех, кто ходит в походы, не поощряют ходить вне троп, особенно в непатрулируемых областях с трудным спасением. Нам часто запрещают посещать отдельные области, где мы могли бы встретить медведей. Наши движения всегда подвержены тому, что Фуколт называет «нормализующим поведением». Имеется дорожная полиция, полиция для альпинистов, речная полиция и полиция для глухих районов. Они носят ружья и жезлы, носят пуленепробиваемые жилеты и накладывают штрафы. Незаконно бродить по национальным паркам без разрешения, определяющего, куда вы идете и где вы останавливаетесь, и насколько долго вы останавливаетесь. Любым постижимым образом национальные парки отделяют нас от свободы, которую обещает дикое.

Это не дикое, не дикая природа. И все же мы продолжаем понимать это как область дикой природы и называть свое время, проведенное там, опытом дикой природы. Мы верим, что вступаем в контакт с диким, но это иллюзия. Как в национальных парках, так и в областях дикой природы мы принимаем сокращенную категорию опыта, подобие дикой природы, подделку. И никто не жалуется.

Мы посещаем зоопарк или «Морской мир», чтобы увидеть диких животных, но они приручены, сделаны зависимыми, покорными. Мы ничего не узнаем о сути их жизни в природе. Мы не видим, как они охотятся или добывают пищу. Мы не видим, как они спариваются. Мы не видим, как они взаимодействуют с другими видами. Мы не видим, как они взаимодействуют со своей средой обитания. Их количества и их движения определены человеческим замыслом. Мы видим их контролируемые. Мы видим их дрессированными. В большинстве случаев они такие же покорные, апатичные и скучающие, как и люди, наблюдающие за ними. Если мы посещаем диких животных в святилищах, то мы защищены автобусами и наблюдательными вышками. Мы отделены от какого либо непосредственного опыта диких животных, которых мы прибыли посетить.

Даже наши эмоции относительно дикого являются опосредствованными. Большинство людей, которые испытывают возмущение относительно добычи китов, никогда не видели кита в море. Большинство людей, которые хотят реинтродуцировать волков в Йеллоустоуне, никогда не видели волка в диком состоянии, и некоторые без сомнения, никогда не видели Йеллоустоуна. Мы испытываем мучения в отношении забитых дубинкой детенышей тюленей и размолотых дельфинов, ни разу не прикоснувшись ни к одному из них, не почувствовав его запаха и не понаблюдав за тем, как он плавает. В какой степени бы эти эмоции не поддерживали бы популярные экологические дела, они не сохраняют дикую природу, потому что опыт объектов эмоций обычно получается через кинофильмы, телевидение, печатное слово или фотографии. Они представляют собой эмоции аудитории, эмоции грустного развлечения и они пройдут также быстро, как и наши чувства в отношении вечерних новостей или нашего любимого фильма.

Эти места красивы, люди чудесны. Я продолжаю ездить туда и буду делать это всегда, даже вполне хорошо зная, что я представляю собой часть проблемы. Там остались уголки дикой природы и немного диких людей, но в целом дикая природа и люди дикой породы исчезли. Диких вещей нельзя достичь в путешествии. Мы увековечиваем идею, что дикость находится где-то снаружи, мы утешаем себя ничтожными имитациями, мы ищем вновь уверенности в развлечении на природе и спорте на открытом воздухе. Но это почти исчезло. Если мы не сможем радикально преобразовать современные цивилизации, то дикая природа и ее люди будут всего лишь воспоминанием в умах немногих людей. Когда они умрут, она умрет вместе с ними, и дикое станет полностью абстрактным.

Что же плохого во всем этом удовольствии и развлечении, в этой имитации того, что когда-то было подлинным и мощным Другим? Ничего, если оно признается тем, чем оно есть — плохой заменой. Но мы не замечаем, что дикое отсутствует, и неясно, как мы могли бы заново установить контакт с дикими существами. Вероятно лучше всего сейчас начать с того, к чему мы эмоционально ближе всего — с животных. Растения могут идти позже, а места последними. Несмотря на всю экологическую болтовню о противоположном, в настоящее время у нас нет ключа относительно того, что могло бы значить вступление в общение с растением или местом, как это делали туземные американцы. К сожалению, условия, при которых мы могли бы вступить в отношения с дикими животными, также сокращаются.

Эта история ежедневно повторяется в средствах массовой информации. Природная среда обитания эродирована или утрачивается, виды страдают, оказываются под угрозой или исчезают. Предпринимаются усилия чтобы спасти ее, исследовать ее и вызвать общественную заинтересованность к ее судьбе. Это всегда звучит таким неизбежным, как будто утрата среды обитания является неисправимой, вопросом судьбы. Редко упоминаются человеческие действия, допущения о том, что мы ответственны за утрату среды обитания дикой природы, возможность того, что мы могли поступить по другому — что мы могли бы обратить вспять ужасающую ситуацию, что у нас есть на это силы — понимание того, что абстрактный язык управления дикой природой помогает и содействует постоянному разрушению дикой среды обитания и признание того, что зоопарк, цирк, «Морской Мир», национальный парк — это бизнес.

Читая эту литературу утраты, мы никогда не откроем, почему касатка Шаму должна была прыгнуть через десять тысяч обручей, чтобы помочь заработать миллионы долларов для мегакорпорации, почему она должна была оставить свою собственную дикую природу ради того, чтобы горсточка людей могла зарабатывать деньги.

Подобно пыткам, дрессировка диких животных демонстрирует современный комплекс истины и силы. Настоящая касатка! Она повинуетса самым тривиальным желаниям! Прыгай, Шаму, прыгай! Сила и истина встречаются в теле живого и мучающегося чувствующего существа. Как и в пытке требуется благодарная аудитория, чтобы легитимизировать процесс; какую цель преследовала бы поимка и дрессировка животных, если представление не развлекало бы аудиторию.

Зоопарки становятся все больше и более природными. Святые дикая животных и национальные парки являются островами, слишком маленькими и все более искусственными. Йеллоустоунский национальный парк в действительности представляет собой мега-зоопарк. Сейчас все подвергается управлению и эксплуатации, это только вопрос степени. Примите это. Это нормально. Мы делаем это для благополучия животных и их дома.

Когда мы занимаемся такими абстракциями, мы стираем границы между реальным и подделкой, диким и прирученным, независимым и зависимым, оригиналом и копией, здоровым и ухудшившимся. Стирание притупляет остроту утраты и удаляет нас от нашей ответственности. Дикая природа не утрачена; мы собрали ее, вы можете видеть ее везде, где хотите.

С помощью нашей бесконечной изобретательности эта подделка заменила природное. В конце концов она в действительности не очень отличается от оригинала. Как отметил Умберто Эко в «Путешествиях в гиперреальность»: «Идеология этой Америки хочет заново установить уверенность через имитацию». И эта идеология преуспела. Мы снова обрели уверенность. Мы не в гневе, даже не расстроены, хотя эта абстракция маскирует ужас. Каждая карикатура требует оригинала — зоопарк это место, которое очень отличается от дикого дома. Зоопарк, «Морской Мир» являются (в лучшем случае) поддельной средой обитания, представляющей публике псевдо-диких животных ради развлечения и финансового вознаграждения. Дикое — это оригинал, дикое — это их дом. Чем больше и натуралистичнее мега-зоопарк, тем лучше маска, которая скрывает его реальность как тюрьмы для диких животных. Либеральные чувства просто требуют больших и лучших клеток.

То, почему мы должны или не должны принимать существование зоопарков — это предмет, к которому нельзя обратиться с помощью абстракций науки о диких животных, научного менеджмента или эффективного администрирования, потому что он ставит под вопрос их легитимность. Откуда и от кого идет право одевать радиоворотник на американского лося, прикручивать болтами пластиковые диски к клювам уток и помещать белых медведей в зоопарки для жизни такой скучной, что их приходится лечить от депрессии и давать небьющиеся пластиковые игрушки?

Ответ на этот вопрос тот же для животных, что и для людей: государство. Государство лицензирует зоопарки. Государству принадлежат все дикие животные. Кто дал ему такую власть? Разве мы когда-либо голосовали за это?

Абстракция вытесняет эмоцию, ограничивая нас рациональным отношением к диким животным — оправдание научного знания, коммерции и филантропии. Это оставляет нас без объяснения наших эмоциональных отношений к животным. Это не может объяснить того, почему я превращаюсь в безумца в зоопарке Мисоре, Индия, при виде толпы, забрасывающей камнями американскую пуму, запертую в клетке на маленькой деревянной платформе. Это животное страдало из-за очень неабстрактной причины. Оно, вероятно, было продано иностранному предприятию для развлечения и прибыли, и человеческие существа плохо обращались с ней. Здесь нет ничего необычного — все нормально.

Ее страдания были вопиющими, решение простым: ей было необходимо отправиться домой. Бежать по обрывам сквозь заросли и красться, и прыгать, и танцующим шагом двигаться на кончиках лап с хвостом, закрученным высоко в воздух, чтобы соблазнить самца, и затем охотиться вместе с ним в лунном свете, и есть оленей и коров, и овец, и делать маленьких пум, и умереть от старости на теплом песчанике у прозрачного ручья в конце ущелья, плотно заросшего хлопковым деревом и бузиной.

Кондорам также необходимо отправиться домой. Также как и касаткам. То, что у них больше нет дома, это не их проблема. Это наша проблема: мы это сделали. Решение состоит в том, чтобы дать им дом. Почему это так трудно понять и выполнить? Часть ответа состоит в следующем: у нас более нет дома, кроме как в грубом коммерческом смысле: дом — это место, куда приходят счета. Чтобы серьезно помочь бездомным людям и животным, потребуется чувство дома, которое не является коммерческим. Эскимосы, сиу — все принадлежат своему месту. Где наша среда обитания? К чему я принадлежу?

Все места принудительной маргинализации — гетто, трущобные поселки, тюрьмы, сумасшедшие дома, концентрационные лагеря имеют нечто общее с зоопарками. Если мы прибавим индейские резервации, аквариумы и ботанические сады к этому списку, то возникнет модель: удаленные от своего дома живые существа становятся маргинальными, а то, что становится маргинальным, портится или разрушается. Основополагающую важность имеет комплексность животных, растений и места, которая создает уникальное сообщество. Это верно в отношении *Homo Sapiens*, как и в отношении всех других видов.

Мы знаем, что исторический переход от сообщества к обществу происходил путем уничтожения уникальных местных структур — религии, экономики, пищевых моделей, обычаев, владений, семей, традиций, и заменой их национальными или интернациональными структурами, что создало современного «индивидуума» и интегрировало его в общество. Современный человек потерял свой дом, в этом процессе со всем остальным произошло то же самое. Вот почему этика земли Ольдо Леопольда является такой пугающе радикальной; она делает этот процесс морально неправильным: «Вещь является правильной, когда она имеет тенденцию сохранять целостность, стабильность и красоту биотического общества. Она является неверной, когда имеет противоположную тенденцию». Применим этот принцип к людям, животным и растениям, и последние десять тысяч лет истории будут просто злом.

Вероятно, самой грустной частью этой истории является рациональный довод о том, что развлечение и рекреация на природе помогают окружающей среде. После того как одна касатка убила другую в «Морском Море», ветеринар, ответственный за китов, попытался обосновать их содержание в неволе, сказав, что дети часто «уходят со знаниями, которых у них не было раньше, и очарованием, которое не проходит... они становятся защитниками морской окружающей среды». Мы слышим тот же самый аргумент о национальных парках и областях дикой природы: они должны быть развлекающими и рекреационными, а то общественность не будет поддерживать вопросов окружающей среды. Короче говоря, благополучие диких существ, диких культур и дикой окружающей среды должно быть полезным для современных людей, должно вписываться в наши социальные и экономические программы, или их не будут поддерживать.

Этот аргумент не отличается от того, который привел офицер во Вьетнаме, который объяснил разрушение деревни, сказав: «Мы должны были разрушить ее для того, чтобы спасти ее». Первое «ее» здесь реальное — люди, растения, животные, дома — то, что было разрушено. Второе «ее» является абстрактным — политической категорией — не существующая теперь деревня была «спасена» от вьетконгонцев.

Какое именно «это» мы пытаемся спасти во всех национальных парках, областях дикой природы, святилищах и зоопарках? Что мы хотим найти, когда путешествуем за рубеж? Я предполагаю, что отчасти это нечто, связанное с нашим чувством дома. Если это даже отчасти верно, тогда мы потерпели ужасную неудачу. Потому что близость к подделке не спасет реального. Многие люди верят, что постоянный опыт карикатур и видимостей создает желание испытать подлинно дикое. Согласно моему опыту он породит желание дополнительных подделок.

Иллюзия контакта с диким, предлагаемая национальными парками, областями дикой природы и «Морскими Мирами» в действительности отвлекает нас от дикого. Знание, полученное в результате этого опыта, создает иллюзию близости, которая маскирует наше подлинное невежество и ведет к апатии перед лицом нашей подлинной утраты. Мы безразличны к природе, но мы не заботимся о природе.

Мы могли бы назвать эту неудачу «Ошибка Мюира». Он не видел достаточно ясно или вообще не видел, что его опыт природы — близкий, поэтический и мечтательный, никогда не сможет быть повторен путешествиями Сьерра Клуба и всеми другими копированиями со стороны бизнеса на природе. В 1895 году он сказал в Сьерра Клубе: «Немногие совсем глухи к проповедям сосен. Их проповеди в горах доходят до наших сердец, и если люди вообще могли бы отправиться в леса хотя бы однажды, чтобы услышать, как деревья разговаривают сами с собой, все трудности на пути сохранения леса исчезли бы».

Они отправились в леса, но не каждый слышал как говорят деревья. Мюир так и не смог понять, что выделение области дикой природы само по себе не будет укреплять близости с диким. Его Йосемитская долина больше похожа на Кони-Айленд, чем на область дикой природы. Он, возможно, не знал, что организация и коммерциализация чего-либо, включая дикую природу, разрушила бы чувственную, таинственную, подчеркнутую, поглощающую инденфикацию, которую он пытался спасти и выразить. Он не мог знать, что даже дикое в конце концов уступит потребительской культуре.

Мир Торо и Мюира — середина девятнадцатого столетия — был ярким от надежды и оптимизма. Несмотря на это они были в гневе от утраты дикого и выражали свой гнев с силой и решимостью. Наши времена темнее. Мы понимаем трудности, которые стоят перед охраной природы более подробно, чем это делали они. Их оптимизм кажется невозможным в конце нашего столетия. Что-то огромное и древнее исчезает и наша ярость должна отражать эту утрату.

Отказывайтесь прощать, лелейте свой гнев. напоминайте другим. У нас нет оправданий.

Экономика против дикой природы

Природоохранное движение является по крайней мере утверждением о том, что эти взаимодействия между человеком и землей являются слишком важными, чтобы оставить их на волю случая, даже того священного разнообразия случаев, известного как экономический закон.

Ольдо Леопольд

Мы окружены рубцами и потерями. Каждый из нас несет с собой список конкретных оскорблений, нанесенных нашей местности: сплошная вырубка, луг с чрезмерным выпасом скота, дорога, дамба. Некоторые из них мы неохотно принимаем, другие мы считаем ошибками. Ошибки посещают нас как демоны, демоны плодят мстящих духов, и присутствие демонов и духов помогают сделать место своим домом. Не случайно, что «дом» (house) и «посещать» (haunt — обитать, часто посещать, обиталище) имеют общие глубокие корни и в староанглийском языке, что мы говорим о доме животного как о его обиталище, или что это «обиталище» может означать как место постоянного обитания, так и место, отмеченное присутствием духов. Подобно рубцам, духи являются напоминанием — следами, по которым прошлое остается настоящим.

Эти раны и шрамы неслучайны. Мы приписываем вред случайным людям или корпорациям, или общим понятиям, таким как индустриализация, технология и христианство, но мы склонны игнорировать то конкретное объединение, которое сделало эти конкретные раны возможным. Это объединение состоит в ресурсных экономиках Запада: лесоводство, выпас скота, извлечение минералов и обширные гидрологические системы, которые поддерживают сельское хозяйство. Исцеление этих ран требует изменение всех этих экономик, их теорий, практик.

Современная экономика началась в постфеодальной Европе вместе с социальными силами и традициями, которые мы называем Просвещением. На одном уровне ее корни представляют собой собрание текстов. Люди в Англии, Франции и Германии писали книги; наши отцы основатели читали книги и в свою очередь писали письма, меморандумы, законодательные документы и Конституцию, таким образом создавая современный гражданский порядок общественного и частного секторов. Большая часть из проблем, стоящих перед моим домом сегодня, происходят от этого дуализма: права на воду, частное использование общественных ресурсов, общественный доступ через частные земли, реинтродуцирование волков в Йеллоустоунском национальном парке, законодательство по дикой природе, стоимость разрешений на выпас частного скота на общественных землях, военные перелеты, ядерные испытания, захоронение токсичных отходов, постановления о

зонировании сельской местности — список долог. Мы настолько поглощены этими напряженностями и средствами их разрешения, что мы не можем заметить, что наши несчастья имеют общую нить — использование мира, воспринимаемого как собрание ресурсов.

Почти каждый согласен с тем, что использование общественных и частных ресурсов является неупорядоченным, но здесь согласие заканчивается. Именно это отсутствие согласия представляет собой ключ к нашим трудностям, а не, например, стоимость разрешений на выпас скота.

Гражданское общество отмечается едва ли сознательным консенсусом верований, ценностей и идеалов — всего, что образует легитимную власть относительно того, какие символы являются важными, какие проблемы требуют разрешения и относительно границ допустимого. Я думаю об этом консенсусе как об общем видении хорошего. Исторически наше общее видение хорошего происходило от общего опыта и интересов в общем месте. На Западе эта «общность» исчезла — если допустить, конечно, что она когда-либо существовала. Мы не разделяем общего видения хорошего, особенно в отношении экономических практик. Одной из многих причин для этого является растущее понимание, что наши существующие экономические практики создают нежизнеспособную планету.

Сокращение консенсуса также вызывает эрозию истины. Истина подобна клею — она соединяет вещи. Когда происходит эрозия истины, личные отношения, семья, общества и нации расслаиваются. Жить с этой эрозией означает получать опыт современности? Современные наследники Просвещения верят в то, что материальный прогресс стоит утраты общего опыта, места, сообщества и истины. Другие менее оптимистичны.

Наследники Локка и Смита являются членами так называемого движения Разумного Использования. Его жизненная сила происходит от точной оценки: общественный порядок, в который они верят, требует христианского откровения, додарвинской науки, физики до изучения частиц и модели разума как максимализация полезности. Точность этой оценки в свою очередь беспокоит как либералов, так и консерваторов, которые желают сохранить идеалы Просвещения, в то же время выбрасывая за борт христианские основания, на которые опираются эти идеалы. К сожалению, это сводит социальную теорию к экономике. Как сделал вывод Джон Данн двадцать пять лет тому назад в «Политическом мышлении Джона Локка»: «Локковские либералы современных Соединенных Штатов являются более близкими, чем они сами это понимают, наследниками эгалитарной перспективы кальвинизма. Если религиозная цель и санкционирование призвания были бы устранены из теории Локка, то цель как индивидуальной человеческой жизни, так и общественной жизни исчерпывающе определялась бы целью максимализации полезности». Именно это сейчас и происходит. Вместо общего видения добра мы имеем собрание прав собственности и расчетов полезности.

Поскольку я буддист, я не ограничиваю равенство человеческими существами и не оправдываю его христианским откровением. Я также не вижу каких-либо оснований ограничивать «общее» (как в «общем благе») или «сообщество» группами человеческих существ. Другие граждане Запада имеют иные понимания и оправдания этих ключевых

политических терминов, поэтому часть решения трудностей Запада связана с языком.

Со времен Ньютона до настоящего времени язык физической теории изменился, и вместе с ним изменилась наша концепция реальности. К сожалению, языки нашей общественной, политической и экономической теорий сохранились несмотря на то, что они достигли своей зрелой формулировки до широкого распространения индустриализации, подъема технологии, жестокого перенаселения, взрыва научных знаний и глобализации экономик. Эти события изменили нашу общественную жизнь без изменения теорий о нашей общественной жизни. Поскольку теория представляет собой просто наше описание мира, новый набор соглашений относительно Запада требует каких-то новых описаний мира и нашего надлежащего места в нем.

На этом фоне защита окружающей среды в своем широчайшем смысле представляет собой новое описание мира. Первые образы этого движения привели к тому, что «Ньюсуик» назвал «войной на Запад». Прокурор Карен Бадд, которая часто поддерживает вопросы Разумного Движения, говорит: «Эта война связана с философией», и она права. Битва идет за интеллектуальные, а не физические ресурсы. Защитники окружающей среды сражаются за то, чтобы снизить авторитет некоторых терминов — например, «частная собственность», и расширить авторитет других терминов — например, «экосистема».

Эти новые силы заняли границы наших умов — странные фигуры, претендующие на высокие моральные области, как сиу вдоль хребтов Миссури. Это вызывает беспокойство. Парни, занятые в традиционных экономиках, ставят в круг фургоны старых ценностей и верований. Их тон и позиция являются оборонительными, как и должно быть с теми, кто будучи затягиваемым в будущее, упорно цепляется за прошлое.

Первопроходцы, которые заселили Запад, навязали свои описания места, которое они называли дикой природой, и людей, которых они называли дикарями. Ни то, ни другое не было по определению источником моральной ценности. Великие дебаты Джефферсона, Мэдисона, Гамильтона и Адамса были наполнены этикой, откровением, наукой, политической теорией и экономической теорией Просвещения. Первопроходцы принесли эти идеи на Запад, чтобы создать моральный и рациональный порядок на новой земле. Эти представления о том, что является моральным и рациональным были связаны с экономикой.

Короче говоря, общественный порядок американского Запада представлял собой мешанину великолепных идеалов и повсеместной слепоты — рационализированный ландшафт, заселенный христианами, считающими частную собственность священной и практикующими сельское хозяйство и коммерцию под отеческим оком федерального правительства.

Мы продолжаем верить, что политики представляют народ, что частная собственность обеспечивает свободу и что сельское хозяйство, коммерция и федеральные противовесы дают достоинство и уважение Западу и его народу. Поскольку это в значительной степени является иллюзией, то неудивительно, что мы сталкиваемся с проблемами.

Остается только одна широко разделяемая ценность — деньги, и это объясняет нашу склонность использовать бизнес и экономику скорее, чем моральные споры и

законодательство для урегулирования наших отличий. Когда «мир» сокращается до рационализированной сетки, наполненной ресурсами, алчность становится пандемической.

Многие группы сторонников охраны природы и заповедания сейчас презируют моральное убеждение, и многие просто уступили правительственному регулированию. Вместо этого они приобретают то, что они могут себе позволить, или утверждают, что рынок следует использовать для того, чтобы сохранить все от озонового слоя до биоразнообразия. Они предлагают вознаграждения владельцам ранчо, которые позволяют волкам водиться в их владениях, они покупают ручьи с форелью, они оплачивают шантаж богатых, чтобы те не вторгались в нетронутые земли. Они защищают находящиеся под угрозой виды и дождевые леса на экономических основаниях. Вместо того чтобы рассматривать современную экономику как проблему, они рассматривают ее как решение.

Отвергание убеждения создает социальный порядок, в котором экономический язык (и его расширение в законе) исчерпывающе описывает наш мир и, следовательно, становится нашим миром. Моральный, эстетический, культурный и духовный порядки в таком случае просто являются субъективными вкусами, не имеющими общественной важности. Таким образом неудивительно, что гражданственность идет на спад. Для меня это новая «этика» охраны природы отдает цинизмом — как будто не сумев убедить и уговорить свою любимую, вы внезапно переключаетесь на наличные. Новые экономические сторонники охраны природы думают, что они являются рациональными; я думаю, они относятся к Матери-Природе как к публичному дому.

Ирония в том, что Просвещение и гражданское общество были задуманы для того, чтобы спасти нас от такого морального вакуума. Просвещение учило, что человеческим существам нет необходимости поклоняться силе за пределами них самих — ни церкви, ни королю. Сейчас нас просят поклоняться рынкам и экономическим стимулам.

Должны ли мы поклоняться новому королю? Могут ли новые экономические стимулы для использования вторсырья, захоронения отходов и более эффективного использования ресурсов положить конец кризису окружающей среды? Могут ли рыночные механизмы восстановить качество общественных земель? Состоит ли победа в лицензиях на загрязнение, налоговых стимулах и новых глушителях? Сохранит ли зеленый капитализм биоразнообразие? Исцелят ли деньги раны Запада?

Одной из групп, которая утвердительно отвечает на эти вопросы, является Новая ресурсная экономика. Она приветствует моральный вакуум и заполняет его рынками и экономическими стимулами. Как экономическая теория она заслуживает тщательного изучения со стороны экономистов. Я не экономист, а альпинист и пустынная крыса. Тем не менее я скажу свое слово, несмотря даже на то, что слово «экономика» заставляет меня шипеть, как Голема в «Хоббите» Толкиена: «Я ненавижу ее. Я ненавижу ее. Я ненавижу ее всегда.» Потому что я верю, что классическая экономическая теория и все теории, которые она предполагает, разрушают волшебное кольцо жизни.

Зимой 1992 года я полетел в Сиэтл по любезному приглашению фонда исследований экономики и окружающей среды, чтобы посетить конференцию, предназначенную для того,

чтобы познакомить пишущих об окружающей среде с идеями Новой ресурсной экономики. Конференция проводилась посреди мизансцены уверенности и силы — со вкусом обставленные изолированные комнаты, приятная пища, хорошее вино. Я чувствовал себя варваром, которого позвали в Рим поплодировать его роскоши.

Я не только не смог увидеть свет, но и не смог понять, что нового в Новой ресурсной экономике. Эта теория применяет идеи о рынках, которым сейчас более двухсот лет. Через некоторое время у меня возникло чувство, что я наблюдаю за морально спорным «сапожником», представления которого быстро исчезают за горизонтом, когда они пытались обновить одну устаревшую идею другой. И все же у меня мало сомнений в том, что они добьются успеха. Только что пролетев над опустошенными лесами к востоку от Сиэттла я хотел воскликнуть: «Посмотрите на судьбу планеты, изнасилование земли!», но я знал, что они спокойно ответили бы разговором о стимулах, преимуществах и неэффективности.

Наконец я понял. Скрытая повестка дня конференции состояла в том, чтобы убедить тех, кто пишет об окружающей среде, описать природу при помощи экономического словаря. У них была теория и подобно всем, у кого есть теория, они делали попытки колонизации с помощью своего теоретического словаря, и таким образом, устранения других способов описания мира.

Литература конференции пахла колонизацией. Доклад Вернона Л.Смита: «Экономические принципы в возникновении человечества» описывает магию, ритуал и модели получения пищи в охотничье-собираТЕЛЬСКИХ культурах с помощью таких терминов, как «стоимость возможности», «цены усилий» и «аккумулированный человеческий капитал». Майкл Ротчайлд в «Биоэкономика: экономика как экосистема» распространяет экономический словарь на экосистемы и поведение животных: ниша становится «профессией организма», его среда обитания и пища — «базовыми ресурсами», его отношение к среде обитания — просто частью «экономики природы».

Описание всего заново экономическим языком характерно для тех, кто сидит в тени Чикагской школы экономики. Так Ричард Поснер в «Экономических аспектах закона» колонизирует юридические вопросы с помощью экономического словаря. Относительно детей Поснер заявляет: «Недостаток детей и черный рынок являются результатом юридических ограничений, которые не дают рынку действовать также свободно при продаже детей, как и при продаже других товаров. Это показывает, что возможной реформой просто является устранение ограничений». «Цены, риски и преимущества хирургии» Банкера, Барнза и Мостеллера делают то же самое в отношении медицины.

В самом деле, все области нашей общественной жизни были заново описаны экономическим языком. Если вам нравится теория в одной области, то она, вероятно, вам понравится повсюду. Экономическое переописание также не ограничено общественными вопросами. Например, Роберт Нозик в «Рассматриваемой жизни» применяет экономический язык к вопросу о том, почему мы могли бы любить наших супругов.

Зачем останавливаться на любви? В «Новом мире экономики» Маккензи и Туллока секс становится рассчитанным рациональным обменом. Отсюда следует, что количество требуемого секса представляет собой обратную функцию цены... Причина этого соотношения состоит просто в том, что рациональный индивидуум будет потреблять секс вплоть до той точки, когда маргинальные преимущества сравниваются с маргинальными затратами... Если цена секса повышается по сравнению с другими товарами, потребитель «рационально» выберет потребление большего количества других товаров и меньше секса. (Мороженое, а также многие другие товары могут заменить секс, если этого требует относительная цена)».

Слова: «ресурсы», «рынок», «преимущества», «рациональное», «собственность», «собственный интерес» функционируют таким же образом, что и слова «конфликт», «бессознательное» и «проецируемая агрессия». Это просто термины, которые использует конкретная теория для описания мира. Принимая эти описания, вы поддерживаете и расширяете теорию. Вы могли бы принять решение игнорировать теорию или сделать заключение, что теория хороша в своем ограниченном контексте, но не должна распространяться на другие. Но если мы не хотим, чтобы судьба наших лесов решалась графиками и колонками, нам необходимо прекратить говорить о лесах как об измеримых ресурсах.

Экономисты и ученые направили нас так, чтобы мы стали говорить о деревьях как о «ресурсах», о дикой природе как о «единицах менеджмента». Принимая их описания, мы позволяем группе экспертов определять наши заботы с экономических позиций и предопределять спектр возможных реакций. Часто мы не можем даже поднять важные для нас вопросы, потому что экономический язык исключает их из дискуссии. Принятие этой направленности выхолащивает не только радикальные альтернативы, но и все альтернативы. Каждый словарь формирует мир так, чтобы тот соответствовал его парадигме. Если вы не хотите природы, сведенной к экономике, тогда отказывайтесь использовать ее язык.

Этот процесс теоретического переописания был окрещен термином «колонизация», потому что он отдает привилегии одному описанию мира и исключает другие. Сиу говорят, что Священные Холмы являются «священной землей», но они обнаружили, что «священная земля» не появляется в языке закона о собственности. Не существует бюро, в которое можно подавать иск о священной земле. Если бы они возбудили судебное дело, они бы открыли, что Верховный Суд склонен защищать религиозные верования, но не религиозные практики в конкретном месте — очень протестантский взгляд на религию.

Язык — это сила. Контролируйте язык людей и вам не потребуется армия, чтобы выиграть войну за Запад. Нечего будет оспаривать. Если мы будем направлены на описание жизни на Земле и нашего дома с точки зрения преимуществ, ресурсов, собственного интереса, моделей и бюджетов, тогда демократия будет мертва.

Реальный способ опровергнуть экономический язык состоит в том, чтобы понять что все, что имеет большую ценность, не является ни абстрактным, ни соизмеримым. Начните со своей руки. Служба компенсации при травмах на работе может сказать вам стоимость вашей руки

в долларах. Рассмотрим вашу дочь. Страховая компания или юрист на судебном процессе могут сказать вам ее стоимость в долларах. Сколько стоит место, где вы родились? Волосы вашего любимого? Ручей? Вид животных? Волки в Йеллоустоуне? Старательно представьте себе каждого любимого человека, место, животного или вещь, переописанных экономическим языком. Затем примените анализ прибылей и расходов. То, что получится в результате, это чувство болезненности (тошноты), знакомое по любой продаже леса или предложению по контролю за хищниками. Эта тошнота оттого, что заставили использовать язык, который игнорирует то, что важно для вашего сердца.

Наконец поймите, что описание жизни — полностью индивидуальной, уникальной, живого здесь и сейчас — особенно диссонирует с абстракциями. Рассмотрим «ресурсы», используемые в биологическом институте. Основатель экспериментальной физиологии Клод Бернард сказал, что человек науки «больше не слышит криков животных, он больше не видит крови, которая течет, он видит только свою идею и воспринимает только организмы, скрывающие проблемы, которые он намерен решить». Он видит только идею, которая даст ему что-то сделать в мире. Тем временем крики животных в лабораторных экспериментах переписываются как «вокализация на высоких тонах».

В своем экстраординарном эссе «Картины на научной выставке» Вильям Джордон, энтомолог, описывает свое высшее образование и ужасающее (его слово) обращение с животными, которого оно требовало. «Пятнадцать лет тому назад я увидел, как несколько из моих однокашников, закрывая свою лабораторию на вечер, обнаружили, что там осталось три или четыре мыши. Следующих экспериментов в расписании не было на несколько недель, и сохранение этих мышей в живых до того времени не стоило затрат и усилий. Мои друзья просто швырнули оставшихся в смеситель, перемололи их и спустили в раковину. Это называлось решением «Кровавая Мэри». Несколько дней тому назад я разговаривал еще с одной своей старой однокашницей по моим университетским дням, и она проинформировала меня, что новый гуманный метод для того, чтобы выбросить лишних мышей в ее лаборатории, состоит в том, чтобы запечатать их в пластиковый мешок и положить в морозильник.

Я повторяю: отношение к негуманоидной жизни не изменилось среди экспериментальных биологов. Отношение представляет собой просто проекцию собственных ценностей, а их ценности не изменились: они не уважают жизнь, которая не является человеческой.

Наука, включая экономику, склонна сводить негуманоидную жизнь к отбросам. Кричащие животные, мертвые койоты, «Кровавая Мэри» из мышей, пни, мертвые реки — все они связаны этими процессами абстрагирования, соизмеримости и финансовой ценности. Для нас нет необходимости описывать мир таким образом. Апачи не делали этого, и нам необходимо достичь точки, когда мы также не будем этого делать.

Вселенная, которую мы можем познать, это вселенная описаний. Если мы обнаруживаем, что живем в моральном вакууме, и если мы полагаем, что это отчасти объясняется экономическим языком, тогда мы обязаны создать альтернативы экономическому языку. Старые способы видеть не изменяются в результате свидетельств. Они изменяются, потому что новый язык захватывает воображение. Прогрессивные отрасли охраны окружающей

среды — определяемые равнодушием и равнодушием к биоразнообразию, дикой природе и замене нашей существующей социальной сетки — биорегионами, отшелушили старые идеи и создали один из многих возможных новых языков.

Эмерсон начал традицию, отбросив свой утилитарный словарь и написав «Природу» на языке, который восстановил священность природы. Торо еще сильнее изменил свой словарь и захватил наше воображение. Этот процесс продолжается трудом поэтов, глубинных экологов и натуралистов. Он, однако, не ограничивается радикальной охраной окружающей среды, он включает многих, кто только частично симпатизирует радикальному делу. Майкл Поллан, например, рассказывает нам во «Второй природе», что наука предложила некоторые новые описания деревьев, как легких Земли. Как радикальный экономист Томас Пауэр показывает в «Экономическом стремлении к качеству», что «экономика» могла бы быть расширена за пределы коммерции. Этот процесс усиливается, когда Чарльз Ф. Вилкин в «Птице-орле» показывает изменения в языке закона, которые почтили бы нашу капитуляцию перед красотой мира и эмоций.

Представим себе распространение общего в «общем благе» на то, что является общим для всей жизни: воздух, атмосферу, воду, процессы эволюции и разнообразие, общность всех организмов в их общем наследии. Представим себе расширение «сообщества» для включения всех форм жизни того места, которое является вашим домом. Представим себе слово «accounting» (бухгалтерия, объяснение, отчет) в его оригинальном смысле: *tu be accountable* (быть объяснимым, подлежать отчету). Что означает «подлежать отчету», перед кем и с какой целью? Что такое «хорошая сделка» со Вселенной? Представим себе экономику потребностей. Вместо того, чтобы спрашивать «Сколько это стоит?» спросите «В чем нуждается этот лес?», «В чем нуждается эта река?».

Первичная задача поэтов, и мыслителей, и художников, как мне кажется, состоит в том, чтобы расширить те ценности, которые мы ценим глубже всего — источник нашей морали и духовной практики, на то, что мы называем «миром». Многие обнаружат, что этот источник является пустым, осушенным, подобно великим водоносным горизонтам, которые питают нашу жадность. Другие откроют связи между своей цельностью и цельностью экосистемы, между своим достоинством и достоинством дерева, между своим желанием автономии и автономией, которой желают все существа, между своими страстями и дикими процессами, которые поддерживают всю жизнь.

Распространим эти моральные и духовные ценности на природу, и духи каждого лелеемого как сокровище места заговорят, как они говорили всегда — через искусства, мифы, сны, танец, литературу, поэзию, мастерство. Откройте дверь, и они преобразят ваш ум мгновенно. Если дети воспитываются, слыша истории про пятнистых сов, почитая их танцами, представляя их в себе в своих мечтах и стремясь к силе их зрения, тогда пятнистые совы заговорят с нами, преобразованные нашим умом в «Нашу форму жизни в месте пятнистых сов».

Тогда нам не пришлось бы беспокоиться по поводу сплошной вырубке среды обитания пятнистой совы. И когда лесные пожары выразили их нужды, мы бы не топили их в химикатах. И дикие реки заговорили бы, если бы были очищены от дамб, и лосось поднялся

бы из моря.

Вкопайтесь в какое-то место — подобно большой сосне, вбивающей корни глубоко в скалистый хребет, чтобы противостоять буре. Позвольте духам избранного вами места говорить через вас. Назовите их имена: Лосиные пруды, Потерянная река. Говорите об индивидуумах — сосновой ласточке на южном хребте Гранд Тетона. Заставьте духов своего места быть услышанными. Сохраняйте надежду. Язык меняется, и воображение на нашей стороне. Возможно через тысячу лет нашими самыми священными объектами будут флора, обширные таксономии насекомых и репертуар песен, которые мы будем петь китам.

В дикости состоит сохранение мира

«Я хотел бы, чтобы мои соседи были более дикими», — говорит Генри Торо. С потолка центра для посетителей на Национальном морском побережье Пойнт Рейз свисают панели, содержащие известные цитаты о ценности природного мира. Одна из них из Торо, из его эссе «Прогулка» гласит: «В дикой природе состоит сохранение мира». Это, конечно, ошибка. Генри не говорил «дикая природа» (wilderness), он сказал: «дикость» (wildness).

Я верю, что ошибочное прочтение «дикая природа» вместо «дикость» представляет собой одну из причин нашей растущей неспособности сохранить дикую землю. Мы путаемся в вопросе о том, что Торо имел ввиду под дикостью, мы не знаем наверняка, как и что сохраняет дикость. Мы также путаемся относительно того, что Торо имел ввиду под «миром». Я не верю, что он имел ввиду просто нашу планету, даже в модном смысле Гайа. Ближе к концу «Прогулки» он говорит: «Нам должны сказать, что греки называли мир Kosmos, Красота или Порядок, но мы не видим ясно, почему они это сделали, и мы оцениваем это в лучшем случае только как любопытный филологический факт». Наше современное слово — это космос, и наиболее недавние филологические исследования показывают значение гармонического порядка. Поэтому в самом широком смысле мы можем сказать, что «в дикости состоит сохранение мира» у Торо связано с гармоничным порядком космоса. Торо утверждает, что первое сохраняет второе. Проблема состоит в следующем: не ясно, я думаю, никому из нас, как самые дикие акты природы — землетрясения, стихийные пожары, эпидемии, убийства и поедание людей пумами и медведями гризли, наша похоть, открытое море в шторм — сохраняют гармоничный космический порядок.

Я не знаю ни об одном авторе, который непосредственно обращается к этому вопросу. В самом деле, до тех пор, пока Гарри Снайдер не опубликовал «Практику дикого», у нас не было общей дискуссии о том, что означает природа, дикость и дикая природа, и как они связаны. Эта ситуация не должна нас удивлять, потому что большинство людей больше не имеют непосредственного опыта дикой природы, и немногие размышляют о космосе. Я зайду так далеко, что скажу, что во многих городах у людей больше нет концепции дикой природы, основанной на личном опыте. В основном дикое — это что-то плохое, о чем сообщается по телевизору. Как сказал один остряк из Нью-Йорка: «Природа — это нечто, через что я прохожу между моим отелем и моим такси».

«Прогулка», а также «Walden» и два других эссе — «Соппротивление гражданскому правительству» (к сожалению чаще всего называемое «Гражданское неповиновение») и «Жизнь без принципа» выражают радикальную сущность трудов жизни Торо, и поскольку он пересматривал «Прогулку» непосредственно перед своей смертью, мы можем предположить, что она точно представляет его идеи.

Наиболее заметный факт в отношении этих работ состоит в том, что Торо буквально игнорирует наши современные заботы о сохранении сред обитания и видов. Он без сомнения включил бы их — он говорит «все хорошие вещи являются дикими и свободными», но он пишет в основном о человеческих существах, их литературе, их мифах, их истории, их работе и досуге и, конечно, их прогулках. Его вопрос, который он взял у Эмерсона, касается человеческой жизни. «Как мне следует жить?» Торо уникален, потому что часть его ответа на этот старый вопрос связан с дикостью. В «Прогулке» он говорит: «Дайте мне как друзей и соседей диких людей, а не прирученных. Дикость дикаря — это не более чем слабый символ внушающей благоговение дикости, с которой встречаются хорошие люди или влюбленные». И послушайте начальные строки эссе: «Я хочу сказать слово о Природе, об абсолютной свободе и дикости в противоположность свободе и культуре просто гражданским, я хочу рассматривать человека как жителя, как неотъемлемую часть Природы, а не как члена общества». Абсолютная свобода. Абсолютная дикость. Человеческие существа являются жителями этой абсолютной свободы и дикости. Это не обычная риторика относительно окружающей среды, и Киттеридж несомненно прав: большинство из нас просто не знает, что имеет ввиду Торо.

Что вызывает такое же замешательство это то, что люди, которые провели жизнь в контакте с дикой природой — ловец палтуса, лавирующий по течениям Аляскинского залива, эскимос — охотник на китов, владелец ранчо, проводящий небольшие операции с коровами и телятами, лесоруб со своей бензопилой, часто выступают против заповедания дикой природы. Другими заповедания с другой стороны нередко являются люди из города, которые зависят от уик-эндов и отпусков, проведенных в заповедных областях дикой природы и национальных парках в своем (по необходимости) ограниченном опыте дикой природы. Различия в степени опыта дикой природы, дихотомия друзей и врагов заповедания, и печально известная неспособность двух этих групп вступать в коммуникацию также указывают на глубину нашей путаницы относительно дикой природы. Мы не знаем, что мы имеем ввиду, и те, кто имеет наибольший опыт дикого, не соглашаются с тем, чего мы хотим достичь.

Мы также предполагаем, что опыт дикости и дикой природы являются взаимосвязанными, и это правдоподобно (хотя и не принимает во внимание элементы нашей личной жизни, о которых также можно было бы думать как о диких: секс, сны, ярость и т.д.). Однако, поскольку дикая природа представляет собой место, а дикость — качество, мы всегда можем задать вопрос: «Насколько дикой является наша дикая природа?» Мой ответ: не очень, особенно в областях дикой природы, с которой знакомо большинство людей, областях, защищенных Актом об областях дикой природы от 1964 года.

Для этого есть много причин. Некоторые широко признаны, и я вкратце пробежусь по ним, но существует одна причина, которая не является широко признанной, причина, которая является оскорбительной для многих умов, но которая восходит к сути начальных строк Торо, а именно, что человеческие существа больше не принимают своего статуса как «неотъемлемой части» биологической сферы, которая является своевольной, самоопределяющейся, самоупорядочивающейся. Вместо этого мы отделили себя от этой сферы и предприняли все усилия, чтобы контролировать ее в своих собственных интересах. Дикая природа является одним из немногих мест, где мы можем начать исправлять это

отделение; следовательно, несмотря на страсть к дикой природе как бастиону охраны биоразнообразия, я склонен думать, что основная ее важность остается в том, в чем ее видели основатели движения охраны природы: в основании для важного вида человеческого опыта. Без большой области дикой природы я сомневаюсь, что большинство из нас когда-нибудь станет рассматривать себя как неотъемлемую часть природы.

Почему наша дикая природа не является дикой и почему в ней так мало опыта дикой природы? Ну, прежде всего дикая природа, которую посещает большинство людей (за исключением Аляски и Канады) слишком мала в пространстве и во времени. Подобно любому опыту дикое может быть вкусом или наслаждением, а наслаждение предполагает вещество и досуг. И в то же время около одной трети наших законодательно учрежденных областей дикой природы меньше 10000 акров — область длиной приблизительно в четыре мили по каждой стороне. Легкая прогулка. Некоторые области дикой природы, обычно острова, имеют меньше 100 акров, и мне говорили, что Пойнт Рейз имеет сейчас бессмысленные для «зоны дикой природы» измерения в несколько сотен ярдов.

Даже наши крупнейшие области дикой природы малы. Только четыре процента больше чем 500000 акров, область со стороной в 27 миль, и поскольку многие следуют вдоль хребтов горных районов, они настолько удлинены, что сильный пеший турист может пересечь их в один день. Действительно, некоторые соседствуют с другими областями дикой природы и отдаленными землями Бюро менеджмента земли и национальными парками, но по сравнению с Амазонией, Аляской, северо-западными территориями или Гималаями большинство областей дикой природы, учрежденных в соответствии с Актом об областях дикой природы кажутся действительно очень маленькими.

К сожалению, без достаточного пространства и времени опыт дикости в областях дикой природы сокращается или просто не существует. Многие люди согласны с Ольдо Леопольдом в том, что должно требоваться пару недель пешего перехода для пересечения подлинной области дикой природы, что-то, что вероятно сейчас не является возможным в континентальной части Соединенных Штатов. Закон прост: чем дальше вы от дороги и чем дольше вы идете, тем более диким является ваш опыт. Две недели — это минимум, месяц лучше. До тех пор ум остается насыщенным человеческими заботами и слепым к природному миру, тело привязанным ко времени метронома и игнорирующим естественные биологические ритмы. Путешественник в маленькой области дикой природы на пешей прогулке во время уик-энда остается в неизвестности об отличиях между коротким и длительным пребыванием на дикой природе; и все же длительное пребывание является фундаментальным для того, чтобы рассматривать себя как часть биологической природы, потому что порядок природы — это прежде всего ритмический порядок.

Во-вторых, в маленьких областях дикой природы обычно не хватает хищников. Иногда это просто функция их маленького размера, но иногда это функция искусственных границ, созданных в соответствии с экономическими и политическими скорее, чем экологическими критериями. Результат тот же: дикая природа приручается. Хищники, вероятно, являются нашим наиболее доступным опытом дикого. Наткнуться на тропу гризли означает испытать дикое наиболее близким чувственным путем; опыт, который отмечен большими изменениями во внимании, восприятии, языке тела, химии тела и эмоциях. Что означает: вы

чувствуете себя частью биологического порядка, известного как пищевая цепочка, возможно даже частью пищи.

В-третьих, эта прирученность усиливается нашей существующей моделью подходящего для человека использования природы — интенсивной рекреации, которая требует систем троп, мостов, указателей направления и расстояния, лесничих в глубине территории и спасательных операций, что в свою очередь порождает виды деятельности, которые еще сильнее уменьшают дикость — карты, путеводители, услуги проводников, рекламу, книги, фотографии, обучающие фильмы — все это сокращает открытие, сюрприз, неизвестное и часто опасное Другое — те самые качества, которые делают место диким. Каждое из этих сокращений приручает и одомашнивает дикую природу и уменьшает опыт дикого.

В четвертых, интенсивное рекреационное использование влияет на общественную политику, приводя тех, кто обладает властью к установлению искусственных методов контроля, которые приносят пользу для рекреационного использования. Популяции животных управляются контролируемой охотой, стихийные пожары подавляются, хищники переселяются, а с людьми обращаются в манере, лучше всего описываемой словом «надзор». Дикое становится проблемой, которая должна решаться дальнейшим человеческим вмешательством — научными исследованиями, законами штата и федеральными законами, судебными решениями, политическими компромиссами и административными и бюрократическими процедурами. Если это вмешательство началось, оно никогда не заканчивается, оно развивается по спирали во все большее и большее человеческое вторжение, делая дикую природу все более оцениваемой, управляемой, регулируемой и контролируемой. То есть прирученной. Кусочек за кусочком, решение за решением, животное за животным, пожар за пожаром — мы уменьшили дикость нашей дикой природы.

Уменьшившись таким образом, дикая природа становится особой единицей собственности, с которой обращаются как с исторической реликвией или руиной — ценным остатком. Она становится местом отпусков (англ. vacation) (слово, связанное со словами «вакантный», «пустой»). Люди стали чужаками для дикого, чужаками для опыта, который когда-то являлся основой их наиболее священных верований и ценностей. Короче говоря, область дикой природы как реликт приводит к туризму, а туризм в области дикой природы становится первичным способом получения опыта уменьшения дикости.

Дикая природа как реликт всегда превращает места в товарные ценности, потому что туризм в его разнообразных проявлениях представляет собой форму коммерции. Весь туризм является в какой-то степени разрушительным и туризм в области дикой природы — не исключение. Буквально каждый (включая меня) занятый в «бизнесе на Природе» кормится (буквально) от дикой природы как от товара. Мы увлечены своей способностью зарабатывать на жизнь таким обменом, но мы склонны игнорировать практические последствия для сохранения дикой природы и для нас самих. Туризм в дикой природе — это не бесплатный ланч. Его наихудшим последствием является то, что он скрывает то, что должно быть первичным использованием: дикое как проекция самого себя. По сравнению с проживанием в дикой биологической области, где опыт дикости представляет собой часть повседневной жизни, туризм в дикой природе является патетическим. Это имело очень

плохие последствия, и нам необходимо признать их.

Туризм в дикой природе игнорирует, вероятно даже карикатурно изображает тот опыт, который решительно отмечали основатели заповедания дикой природы: Генри Торо, Джон Мюир, Роберт Маршалл, Ольдо Леопольд и Олаус Мурье. Тот вид дикого, опыт которого они получали, стал очень редким — опыт, который подвергается опасности. В результате мы более не понимаем корней своего собственного дела. Прочтение работ этих людей, а затем просмотр номера, скажем «Сьерры», может вызвать потерю ориентации. Основатели имели что-то, чего не хватает нам, что-то, что Торо называл «индейской мудростью». На протяжении большей части своей жизни эти люди жили в природе и изучали ее, прежде чем она стала «областью дикой природы», и их знания шли не из центров для посетителей и путеводителей, но из близкого, непосредственного персонального опыта.

Знания Торо земли, окружающей Конкорд, были такими обширными, что некоторые из детей этого городка верили, что подобно Богу Генри создал все это. Его знание флоры было таким точным, что редкие виды папоротника, которых не видели сотню лет, были недавно заново открыты с помощью перелистывания его заметок и его изучение последовательности лесных деревьев представляет собой конструктивную тему для современной экологии. Мюир провел месяц в одиночестве в дикой Сьерра-Неваде и сделал первоначальный вклад в исследование ледников. Жизни Маршалла, Леопольда и Мурье подобным образом проявляют широкий личный опыт и знания дикой природы и дикого. В значительной степени их жизни были посвящены дикой природе. Без такого посвящения не уверен, что существовали бы прозрения Торо на Катаддине, мистическая идентификация Мюира с деревьями или мышление как гора Леопольда.

Туризм в области дикой природы полностью отличается. Он посвящен удовольствию. Мы охотимся ради удовольствия, ловим рыбу ради удовольствия, занимаемся альпинизмом ради удовольствия, катаемся на лыжах ради удовольствия и ходим в походы ради удовольствия.

Учитывая невежество и высокомерие большинства охотников за удовольствиями, понятно почему те, кто считает, что проиграет в результате увеличения учреждения областей дикой природы — фермеры, владельцы ранчо, лесорубы, коммерческие рыболовы, американские индейцы — часто приходят в ярость. Вместо столкновения потребностей заповедания дикого кажется столкновением работы с рекреацией. При отсутствии более глубокого опыта дикости и доступа к краеведению, мифу, метафоре и ритуалу, необходимых для того, чтобы разделять этот опыт, нет коммуникации, видения, которые могли бы закрыть сегодняшний тупик дебатов о дикой природе. Обе группы эксплуатируют дикое, первая — потребляя ее, а вторая, преобразуя ее в игровую площадку, а затем потребляя ее. Поклонение учреждению областей дикой природы таким образом становится идолопоклонничеством, смешением символа с его сущностью. В любом случае результат один и тот же: разрушение дикого.

С туризмом в дикой природе мы также утрачиваем свое наиболее эффективное оружие для сохранения того немногого, что остается от природного мира: эмоциональную идентификацию. На уровне основополагающих принципов то, что приводит в движение как реформаторскую защиту окружающей среды, так и глубинную экологию — это практическая проблема: как побудить человеческие существа уважать дикую природу и заботиться о ней.

Традиция Торо и Мюира говорит, что лучшим способом сделать это является грубый внутренний контакт с дикой природой. Подлинное проживание в дикой природе приносит идентификацию и обобщенную реакцию, которая распространяет симпатию на весь дикий мир. Без этой идентификации решения являются абстрактными и бессильными, то есть непрактичными. Но потому что так многие из нас одержимы удовольствием в диком, существует большое количество непрактичных, бессильных решений, доминирующих над мышлением в области защиты окружающей среды. У нас есть удовольствие и у нас есть философия, но мы редко серьезно используем дикую природу для исследования, то есть отношения между свободой и космосом.

Одного разума недостаточно для того, чтобы сдвинуть волю. Мы должны повторять себе это каждый день, как мантру. Разум не побудил нас уважать дикую природу и заботиться о ней, и у нас нет оснований верить, что это произойдет в будущем. Философские аргументы, морализаторство, эстетика, политическое законодательство и абстрактные философии неспособны воздействовать на человеческое поведение. Простые концепции и абстракции не подойдут, потому что любовь выходит за пределы концепций и абстракций. И все же проблемой является проблема любви. Как писал Стивен Джей Гоулд: «Мы не можем выиграть эту битву за спасение видов и окружающей среды, не установив также эмоциональной связи между собой и природой, потому что мы не будем сражаться, чтобы спасти то, чего мы не любим». Природоохранное движение вложило много мыслей, времени, усилий и денег в общественную политику и науку и слишком мало в непосредственный персональный опыт и искусство. Нет ничего плохого в общественной политике и науке, но поскольку они не породят любви, они должны оставаться вторичными в деле заповедания.

Дикость и защита дикой природы

Торо начал говорить о дикости как о сохранении мира на лекции, прочитанной в лицее Конкорд 23 апреля 1851 года, озаглавленной «Дикое». В июне следующего года он объединил ее с еще одной лекцией о прогулке и опубликовал их обе как эссе «Прогулка или дикое» в «Атлантик Мансли». Это эссе остается наиболее радикальным документом в истории нашей природоохранной этики, и как очень удачно выразился выдающийся исследователь Торо Роберт Ричардсон: «Как мы понимаем, эта этика зависит от того, что Торо имел в виду под «Дикостью».

Торо понимал дикость как качество: дикая природа, дикие люди, дикие друзья, дикие мечты, дикие домашние кошки и дикая литература. Он ассоциировал ее с другими качествами: хорошим, священным, свободным. В самом деле он приравнивал ее к самой жизни. Под свободой он имел в виду не права и свободы, но автономное и самовольное, а под жизнью — жизнеспособность и жизненную силу. Эти сопутствующие значения не ограничиваются нашей культурой. Гари Набхан указывал, что «термин Додхам для дикости, «doajkam» этимологически связан с терминами, обозначающими здоровье, целостность и жизнеспособность».

Известное высказывание Торо «в дикости состоит сохранение мира» утверждает, что дикость сохраняет, а не то, что мы должны сохранять дикость. Для Торо дикость была данной, его задача состояла в том, чтобы прикоснуться к ней и выразить ее, и он верил, что миф лучше всего ее выражал. Его успех объяснялся не политическим действием или научным исследованием, но личными усилиями. В той же мере, как и во всем остальном, дикость представляла собой проекцию самого себя.

После Торо фокус нашей природоохранной этики стал мутировать от дикости к сохранению областей дикой природы, среды обитания и видов, а недавно к биоразнообразию. Этот сдвиг был широко материалистическим, переходом от качества к количеству, к количеству акров, видам и физическим отношениям. Привилегированный статус в нашей культуре классической науки и ее технологий буквально повлек за собой этот материализм, потому что классическая наука и ее математики не могли описать такие качества как дикость, а то, что не может быть описано, игнорируется. Дикость как качество и ее отношение к другим качествам сейчас редко обсуждаются, заметным исключением здесь является «Практика дикого» Гарри Снайдера.

Этот сдвиг был также редукционистским. Сохраняя вещи — акры, виды и природные процессы, мы верили, что сможем сохранить качество. Увы, собрание акров, видов и процессов, каким бы оно ни было обширным и разнообразным, не более сохраняет дикость,

чем большие и разнообразные собрания священных объектов сохраняют священное. Дикое и священное просто не являются вещами того вида, которые можно собирать. Исторические формы доступа и выражения могут быть сохранены, но качество нельзя поместить в музей. В то же самое время дикость не может исчезнуть. Она может уменьшиться в природе и в человеческом опыте, но она не может перестать существовать. Мир содержит много вещей, которые существуют, но которые нельзя собрать и поместить в какое-то место — множества сложных чисел, сила тяготения, сны. Дикость похода на них, и нам не очень ясно, как ее сохранять.

Существуют отличные основания для того, чтобы сохранять дикую природу, биотические сообщества и биоразнообразие, помимо какой-либо связи с дикостью, оснований, которые подробно охватываются нашей литературой по окружающей среде, но эти материалистические и редукционистские сдвиги в нашей природоохранной этике уменьшили дикость мест, видов и процессов, которую мы сумели сохранить, уменьшая их автономию и жизнеспособность. К сожалению, наша природоохранная этика склонна игнорировать эту утрату.

Это уменьшение будет продолжаться, потому что наши усилия в заповедании — парки, области дикой природы, зоопарки, ботанические сады воспринимаются с позиций современных институтов, в первую очередь как лаборатории и музеи, институтов, которые противостоят автономии и жизнеспособности. В прошлом политические и эстетические критерии служили для отбора образцов, в будущем (можно надеяться) биологические и экологические критерии выйдут на передний план. Но не в зависимости от того, насколько велико количество отобранного, процесс отбора и реализации делает образцы искусственными. Окружающая среда и те, кто ее населяет, отбираются и управляются в соответствии с человеческими целями — сохранением пейзажа, ресурсов, дикой природы, биоразнообразия. Эта искусственность фундаментально изменяет их порядок, извлекая их из более широкого контекста взаимосвязанности, которая создала этот порядок. Как говорит Энтони Гидденс при обсуждении последствий модернизма: «Цель природы» означает, что природный мир стал в большой степени «созданной окружающей средой», состоящей из структурированных человеком систем, движущая сила и динамика которых происходят от социально организованных претензий на знание скорее, чем от влияний чужеродных для человеческой деятельности». Это также верно в отношении национальных парков и спроектированных областей дикой природы, как и в отношении Диснейленда.

Созданная окружающая среда представляет собой нейтрализованное целое и дикое, с которым мы более не состоим в жизнеспособных отношениях. Музейные объекты могут быть полезными, развлекающими и информативными, и природа как лаборатория может порождать целые дисциплины нового знания, но их субъекты утратили свои собственные организующие принципы и точно описываются как реликты — вещи, которые остались после разрушения или упадка оригинального и сохраненные как объекты почитания.

В этом смысле возможно рассматривать Землю как все более музейную, находящуюся в процессе превращения в реликвию: ранее автономный порядок, преобразованный единственным видом для своего собственного использования, вид, который в результате комбинации оплакивания и уважения сохраняет куски и части для поклонения,

исследования и развлечения. Немногочисленные части остающейся дикой природы долгое время ценились как лаборатория — отсюда заголовок эссе Ольдо Леопольда «Дикая природа как лаборатория земли». Природа, подвергающаяся стрессу, становится еще одним интересным научным экспериментом, задачей, которую следует решить, что-то вроде больного пациента, хронически безработного, разбитой машиной. Вместо того, чтобы быть собранием богов (как для греков) или источником Величественного (как для Канта и романтиков), или источником моральной поучительности (как для Эмерсона, Торо и Мюира), природа становится подчиненной людям — зависимой. Пациентом. Затем в филантропической чувствительности, вызванной кризисом Господа, человек бросается помочь бедняге выздороветь с помощью систем GPS, компьютерных баз данных, убежищ, генных банков и радиоошейников.

Мы открыли, что наши музеи типов земли являются слишком маленькими, разобщенными и искусственными, чтобы позволить видам поддерживать свою собственную структуру и порядок. Наше средство для этих островных экосистем и реликтовых популяций состоит в том, чтобы создать большие и лучшие рукотворные виды окружающей среды в соответствии с новыми теориями, большим количеством данных и лучшими практиками менеджмента. Это может привести к более полным экосистемам и может поддерживать некоторые виды, но усилившееся человеческое влияние и механизмы контроля, которые требуются для отбора и заповедания, одновременно уменьшают самоорганизацию и дикость системы. Реликтовая область дикой природы становится все менее и менее природной и она подвергается менеджменту, необходимому для ее выживания и, что иронично, становится все менее и менее способной выполнять свою предполагаемую научную роль — служить эталоном природных процессов, по отношению к которому можно было бы измерять здоровье мира, испытывающего помехи со стороны человека.

Пример этого процесса можно найти в Проекте по диким местностям, предлагаемого учеными-экологами: «Программа восстановления областей дикой природы для Северной Америки». В случае успеха это стало бы крупнейшей в мире рукотворной окружающей средой. Ее порядок и структура — ядер, коридоров, буферов и областей плотного заселения несомненно, будут видны из космоса. Я думаю об этом как о Северной Америке, спроектированной Формэном, Нэссом и компанией.

Все это показывает, что нам необходимо представить себе новую природоохранную этику, основанную на дикости. То, что мы можем начать поразумевать под «дикостью», могло бы эволюционировать из существующих междисциплинарных усилий феминисток, математиков, философов и физиков с целью понимания контроля, предсказания, господства и их противоположностей: автономии, самоорганизации, самоупорядочивания.

В своей «Книге фактов» Торо отмечал, что дикое «wild» представляет собой причастие прошедшего времени от «to will» (желать) — самовольный. Новая этика дикой природы выдвинула бы на передний план ссылку Торо и подтвердила бы недавние исследования, которые интерпретируют «область дикой природы» (wilderness) в ее первоначальном смысле «самовольной земли». Это придало бы остроты наиболее важному слову в самом важном отрывке «Акта об областях дикой природы»: «не испытывающий препятствий». И, наконец, это способствовало бы проекту Торо по пониманию дикого внутри нас и внутри природы как

фундаментально одинакового по своим концептуальным ассоциациям с жизненной силой и свободой.

Чтобы сконструировать новую этику окружающей среды, нам необходимо вначале понять, почему мы навязываем человеческий порядок негуманоидным видам. Мы делаем это ради выгоды, а выгода состоит в прогнозируемости, эффективности и, следовательно, в контроле. Столкнувшись с ускоряющимся разрушением экосистем и с истреблением видов, мы верим, что наша единственная возможность состоит в увеличенных прогнозируемости, эффективности и контроле. Поэтому мы сражаемся за сохранение экосистем и видов, и мы принимаем их уменьшившуюся дикость. Это приводит к выигрышу в сражении, но проигрышу в войне, и в этом процессе мы просто перестаем говорить о дикости.

Существует много способов сделать это. Например, мы начинаем заменять «дикость» (wildness) дикой природой (областью дикой природы — wilderness), как в обычно неправильно цитируемом высказывании Торо: «В дикой природе состоит сохранение мира». Но большинство из наших заповеданных, в соответствии с Актом об областях дикой природы, областей дикой природы не являются дикими. Возьмем, например, область дикой природы Гила, которая представляет собой пастбище, а не самовольную землю. Торо не утверждал, что в ранчо состоит сохранение мира.

Мы также склонны приравнивать дикость к биоразнообразию. Например, глава 2 работы Роджера ДиСильвестро «Восстановление последних диких земель: новая повестка дня для биоразнообразия» озаглавлена «Биоразнообразие: спасение дикости», и в ней содержатся такие фразы как «дикость в природе, это именно то, что мы защищаем, когда мы защищаем биоразнообразие, и защита биоразнообразия, дикости». Но дикость это не биоразнообразие. На самом деле дикость может обратно соотноситься с биоразнообразием. В работе «Пустыня пахнет дождем» Гари Набхан описывает два оазиса. В оазисе, занятым папугами, было в два раза больше видов птиц, чем в диком, заповеданном в рамках Национального памятника Орган Пайп Кактус. Ни один из оазисов не является диким в сколько-нибудь значимом смысле этого термина, и более отдаленные и дикие пустынные оазисы вполне даже могут содержать еще меньшее количество видов. Ну и что, если так? Разве дикость является менее важной, чем биоразнообразие? Должны ли мы сохранять последнее за счет первого? Какие критерии стали бы мы использовать для решения этого вопроса?

Для многих биологов-природоохранников (хотя, конечно, не для Набхана) важным является отличие между «в диком состоянии» и «в неволе», где «в диком состоянии» сейчас обозначает управляемую экосистему. Но если гризли контролируются в дикой природе при помощи радио-ошейников и политики перемещения, тогда то, что для Торо являлось центральным вопросом — свобода, просто выпадает из рассуждения о заповедании.

Мы также игнорируем дикость, когда мы определяем дикую природу с точки зрения отсутствия человека. В «Метафоре Ольдо Леопольда» Дж. Бейрд Калликотт указывает, что за исключением Антарктики, не существовало земли без человеческого присутствия и поэтому дикая природа из «Акта из областей дикой природы» является непоследовательной идеей. Другие люди отрицают существование дикости на том основании, что любое человеческое влияние на вид или экосистему разрушает дикость, а поскольку человеческое

влияние существовало долгое время ... опять же — никакой дикости. Это абсурд, и можно догадываться, что сказали бы Льюис и Кларк, стоя на берегах Миссури, подумав бы о таких словах. «Это не дикая природа. Как же так, здесь существуют миллионы людей. И она также не является дикой. Человеческое влияние портило это место на протяжении 10000 лет».

Что-то здесь не так; я полагаю, это происходит оттого, что большинство людей, которые пишут и думают о дикой природе, знают о ней только из «Акта об областях дикой природы». Неделя в Амазонии, высоких широтах Арктики или северной стороне западных Гималаев показала бы что то, что считается дикостью или областью дикой природы, определяется не отсутствием людей, но отношениями между людьми и местом. Место является диким, когда его порядок создается согласно его собственным принципам организации, когда оно является самовольной землей. Туземные народы обычно (хотя определенно не всегда) «вписываются» в этот порядок, влияя на нее, но не контролируя ее, хотя вероятно не из-за высокого набора ценностей, но потому, что им не хватает технических средств. Контроль увеличивается с цивилизацией, и современная цивилизация, в значительной степени связанная с контролем — идеология контроля проецируется на весь мир — должна контролировать или отрицать дикость. Эта перспектива наиболее ясно представлена романами-антиутопиями, начиная с «Мы» Евгения Замятина.

Хотя автономию часто путают с радикальным отделением и полной независимостью, автономия систем (и я стал бы утверждать — человеческая свобода) усиливается взаимосвязанностью, сложным повторением и обратной связью, то-есть влиянием. В самом деле, эти процессы создают ту возможность изменения, без которой нет свободы. Детерминизм и автономия являются такими же неразделимыми, как множественные аспекты гештальт рисунка.

Важный момент состоит в том, что какой бы вид автономии ни обсуждался, человеческая свобода, самовольная земля, самоупорядочивающиеся системы, самоорганизующиеся системы — все являются несопоставимыми с внешним контролем. Воспринимать дикость всерьез означает — воспринимать всерьез вопрос контроля, а поскольку дисциплины прикладной биологии не воспринимают вопрос контроля всерьез, они замусорены парадоксами — «менеджмент дикой природы», «менеджмент областей дикой природы», «менеджмент изменений», «менеджмент природных систем», «копирование природных потрясений» — то, что мы могли бы назвать парадоксами автономии. Собрания парадоксов обычно являются плохими новостями для научных парадигм, и я думаю, что биологические науки стоят перед серьезной революцией.

Биологические науки ирают все более имперскую роль в природоохранной этике с дней Ольдо Леопольда. Если цель состоит в том, чтобы сохранить экосистемы и виды, тогда отправляются к экспертам: экологам и биологам. На протяжении прошедших двадцати лет стало очевидным, что индивидуальные дисциплины прикладной биологии недостаточно всеобъемлющи, чтобы добиться целей заповедания, особенно биоразнообразия, и что их необходимо интегрировать с более новыми дисциплинами биологии популяций и экологии — то-есть природоохранной биологии. Природоохранная биология представляет собой все более доминирующий голос в защиту заповедания в нашей стране, если не во всем мире, и большие организации защиты окружающей среды, которые когда-то вели битву за

заповедание, часто следуют ее повестке дня.

К сожалению, природоохранная биология также связана с контролем. Она интегрирует средства контроля уже имеющиеся в биологических, физических и общественных науках, что ведет к тому, что мы могли бы описать как мета-менеджмент. Поскольку биоразнообразие понимается как модель скудных ресурсов, сохранение биоразнообразия становится проблемой, подобной менеджменту ресурсов. Перед лицом утраты биоразнообразия (а такой кризис несомненно существует) природоохранная биология требует, чтобы мы сделали что-то сейчас, единственным способом, который считается деланием чего-либо — больше денег, больше исследований, больше технологии, больше информации, больше акров. Доверяйте науке, доверяйте технологии, доверяйте экспертам: они лучше знают. Короче говоря, рецепт от заболевания — еще больше контроля.

К сожалению, вместо того, чтобы бить по причинам, современные теоретические дисциплины, такие как природоохранная биология, стремятся контролировать симптомы. Их средства контроля направлены на Другое, а не на наши собственные общественные патологии. Это отражает различие между профилактической медициной и медициной вмешательства: вместо того, чтобы переделывать самих себя и свои общества, современные теоретические дисциплины принялись переделывать негуманоидный мир и уменьшать его автономию. В долгосрочной перспективе это ведет к неудаче, поскольку мир сопротивляется нашим вмешательствам и приспосабливается к ним.

Эти средства контроля всегда являются дисциплинарными или протодисциплинарными по своей природе, и множественные значения слова «дисциплины» здесь не являются случайными. Они связаны с отловом (при помощи стрельбы, дротиков, сетей, ловушек, поимки и задержания); изолированием в особых местах (палаты, тюрьмы, убежища, области дикой природы); цифровой идентификации (татуирование и прикрепление бирок ко всему — от заключенных и солдат до лебедей и гризли); технологическим представлением (фотография, рентген, нанесение на карту GPS); химическим манипулированием (микробами, мозгом, плодородием); хирургией (лоботомии для сумасшедших и для хищников, имплантация радиопередатчиков или радиоактивных пластинок, чтобы сделать их испражнения видимыми со спутников); отслеживанием (радиоошейники на животных, мониторы на лодыжке заключенных, сердечные мониторы для пациентов кардиологии) — и постоянный надзор, чтобы накопить еще больше информации. Серьезно вторгшись в человеческое тело и ум, мы сейчас намереваемся вторгнуться в остальные творения, таким образом подтверждая предсказание в Экклезиасте: «Ибо то, что случится с сынами человеческими, случится и со зверями».

Оправданные во имя нормальности и равновесия, точно также как войны оправданы «миром в наше время», дисциплинарные технологии склонны развиваться в большие схемы спасения: экономические войны против нищеты, криминологические войны против преступности. Несмотря на частичные успехи, эти войны потерпели неудачу. Тюрьмы создают больше преступников, а нищета и голод усиливаются при современных экономиках. К сожалению, эти неудачи не унижают достоинства дисциплин и не останавливают их войны. Подобно Авису, дисциплинарные технологии просто сильнее стараются, то есть стараются контролировать больше и контролировать лучше.

Природоохранная биология в традициях великого спасения. Она хочет вести войну за биоразнообразие, то-есть ее миссии и стратегии (от греческого слова stratos) должны переделать природный мир в соответствии с собственными видениями. Я предвижу, что она потерпит неудачу по той же самой причине, по которой терпят неудачу другие дисциплины: она не бьет по причинам выбранного недуга, но остается терапевтической. Ее самой тщетной надеждой остается остановить симптомы и она отчаянно предполагает, что недуг является острым, а не хроническим.

Подлинное изменение наступает при изменении структуры, а не при лечении симптомов. Структура, которую должна изменить радикальная позиция защиты окружающей среды, это система позитивной обратной связи, включающая перенаселение, урбанизацию, возмутительно высокий уровень жизни, возмутительно несправедливое распределение базовых благ, соединение классической науки, технологии, государства и рыночной экономики, которые поддерживают высокий уровень жизни, бесконечные допущения относительно наших прав, свобод и привилегий и полное отсутствие духовной жизни, которое могло бы смягчить эти формы жадности.

В экологии наиболее мощным заявлением о контроле природы является работа Дэниэла Б. Боткина «Диссонирующие гармонии: новая экология для двадцать первого столетия». Боткин представляет графические доказательства опустошения, вызванного неуправляемыми слонами в Тсаво, одного из крупнейших кенийских национальных парков. Он язвительно утверждает, что наши современные представления о природе являются устаревшими, он призывает к большему управлению, большей информации, большему наблюдению, большим исследованиям, большему финансированию образования в области окружающей среды. Он призывает к заповеданию областей дикой природы в первую очередь как отправной точки для научных измерений. Это сильная книга. Он приходит к заключению, что «природа в двадцать первом столетии будет природой, которую мы создаем; вопросом является степень, в которой это формирование будет преднамеренным или непреднамеренным, желательными или нежелательным».

Боткин не один. В эссе, озаглавленном «Общественная осада природы», Майкл Суле, один из основателей природоохранной биологии, говорит: «Некоторые из экологических мифов, обсуждавшихся здесь, содержат открыто или в подтексте идею о том, что природа является саморегулирующейся и способной позаботиться о себе. Это представление ведет к теории менеджмента, известной как мягкое невмешательство — с природой все будет хорошо, спасибо, если человеческие существа просто оставят ее в покое. В самом деле, столетие назад политика «руки прочь» была наилучшей политикой. Сейчас это не так... Гомеостаз, равновесие и Гайа представляют собой опасные модели, когда они применяются в неверных пространственных и временных масштабах. Даже пятьдесят лет тому назад невмешательство вполне могло бы быть лучшим лекарством, но это был мир с гораздо большими негуманизированными, связанными пространствами, мир с числом людей, равным одной трети от современного, и мир, на который не повлияли бензопилы, бульдозеры, пестициды и экзотические виды сорняков. Альтернативой невмешательству является активная забота, говоря сегодняшним языком, утвердительный подход к диким землям».

Не согласитесь с природоохранной биологией и вы окажетесь в углу тех, кто не заботится о природе, потому что спор был оформлен антропоцентрическими терминами: какое наилучшее лекарство мы можем дать старому, бедному, больному миру? Менеджмент Суле просто заново воспроизводит риторику начала шестидесятых годов.

Что это означает для кажущейся старомодной идеи дикости Торо? Реальные последствия этой парадигмы менеджмента четко сформулированы Давидом М. Грабером, исследователем Национальной биологической программы при обсуждении менеджмента в национальных парках: «Парки все больше становятся экологическими островами, по мере того как ландшафты, которые окружают их, превращаются в сельскохозяйственные или застраиваются. Таким образом, в то время как можно ожидать, что климатические изменения приведут к локальному истреблению видов в парках, вторжение многих местных видов, «замены» тех, которые приспособились к новому климату, будет блокировано изоляцией. Преднамеренное интродуцирование или поддержание туземных видов могло бы в некоторых случаях использоваться для того, чтобы облегчить интродуцирование видов, которые появились бы сами по себе до фрагментации среды обитания, а также для того, чтобы обеспечить выживание других видов, которые более не были бы достаточно адаптированы, чтобы сохраниться при новых климатических и экологических условиях. Такой интенсивный менеджмент фактически будет, вероятно, необходим для того, чтобы сохранить виды растений и животных, которые, вероятно, уже являются локальными по распространению. Управление парками таким образом подчеркнуто отбрасывает современное экологически обоснованное понятие дикости. В самом деле мы оказываемся в ловушке заботы об остальной жизни в преобразованном мире».

Это действительно дилемма. Мы желаем защищать и сохранять дикую природу, но кажется, что для того, чтобы сделать это, мы должны принять довольно твердолобый научный позитивизм, который в биологических науках принимает форму такого же твердолобого стиля менеджмента. Результат этого стиля менеджмента в том, что мы можем спасти природное разнообразие, только разрушая собственный дикий порядок истории. Альтернатива «позволения все рассортировать» серьезно не рассматривается. В самом деле она стала анафемой, потому что даже наши жалкие попытки контролировать лучше, чем позволить естественному порядку управлять природным миром.

Это отношение скоро станет общественной политикой. В недавнем томе эссе по здоровью экосистем сказано, что «существует значительная база для расширения консенсуса, если концепции здоровья придается первичное определение как политической концепции». Это устраняет «здоровье природы» как свойство мира, сводит его к человеческой политике, и в свою очередь буквально гарантирует то, что биологи и экологи займутся ремонтом мира с помощью лечения и корректирующих действий. В этом ирония эссе Суле: он сожалеет об общественной осаде природы, но не может увидеть, что биологические науки возглавляют штурм, как будто каким-то образом биология и экология перестали быть частью матрицы общественной конструкции.

Экологический менеджмент — это нормализация и дисциплинарный контроль фуколта, спроецированные с общественных институтов на экосистемы. Отличие природного мира потребляется современной общественной политикой и новые доктора природы

отправляются в свои миссии — евангелисты, снова трудящиеся среди диких народов (сейчас растения и животные вместо народов), принося дар современного порядка и нашу современную версию спасения — сохранение биоразнообразия.

Я, например, не хочу знать о гибели гризли вообще и я также не могу каким-либо практическим образом заботиться о гризли вообще. Я хочу знать и заботиться о гризли, который живет в каньоне надо мной. И я больше верю в самого себя, своих друзей и этого гризли, чем в менеджеров, сидящих в университетах в тысячах миль отсюда, которые никогда не видели этого места или этого гризли и хотят, чтобы все это было отнесено к математической модели.

В этой ситуации хотелось бы верить, что радикальные защитники окружающей среды могут предложить что-то отличающееся от того, что предлагают организации защиты окружающей среды основного направления и природоохранные организации.

На протяжении первых пяти лет природоохранная биология распространила свое влияние на радикальную защиту окружающей среды, переворачивая темы, которые когда-то легитимизировали ее радикальное содержание. Трансформация части экогруппы «Земля прежде всего» в «Дикую землю» и было движением от персонального доверия и конфронтации к вере в абстракцию и примирению с технологией. В этом переходе оно получило новых последователей (и значительную финансовую поддержку) и потеряло других. Оно несомненно потеряло меня. В то время как наука, технология и современность когда-то представляли собой часть проблемы, сейчас они являются значительной частью решения, и я боюсь, что Проект диких земель может сократить «Дикую землю» — несомненно одну из наших лучших радикальных организаций, защищающих окружающую среду, до политической руки научной дисциплины.

Но опять же ключевыми вопросами являются контроль и автономия, а не наука. Недавние выпуски «Дикой земли» и «Природоохранной биологии» провели дебаты о менеджменте областей дикой природы и диких систем, но они не добрались до сердца проблемы. Как писал в «Дикой земле» Майк Сейдман: «Кажется, что глубина моей критики менеджмента осталась незамеченной». Сейдман был джентельменом, в то время как с другой стороны «дебатов» широко использовались нелогичные заключения.

Автономия природных систем — это скелет в шкафу для нашей природоохранной этики, и хотя это признано, никто честно не занимается этим вопросом. Проблема проявляется во многих формах. Она объясняет растущее недовольство нашим контролем над хищниками, лосиные охоты в национальном парке Гранд Тетон, убийство слонов ради менеджмента и отлов и дрессировку последних кондоров. Она объясняет растущее неудовольствие, окружающее реинтродукцию волков в Йеллоустоунском национальном парке. На протяжении десятилетия защитники окружающей среды сражались за экспериментальную популяцию, теперь столкнувшись с биологическим и политическим контролем над этой экспериментальной популяцией, многие люди предпочли бы естественное восстановление, сколько бы времени это ни заняло.

Биологические средства контроля являются повсеместными. Биологи контролируют гризли, они ловят и одевают радиоошейники на журавлей, у них есть симпатичные маленькие рюкзачки для лягушек, они прикручивают болтами ярко окрашенные пластиковые кнопки к клювам уток-арлекинов, они даже ставят радиопередатчики на мелкую рыбешку. И всегда по той же самой причине: больше информации ради лучшей, более здоровой экосистемы. Информация и контроль являются неразделимыми, этот момент очень подробно рассматривался Джеймсом Беннигером в «Революции контроля: технологические и экономические истоки информационного общества». Это основной момент, вероятно единственный момент наблюдения.

Одержимость радикальных защитников окружающей среды дорогами и дамбами выдает грубое индустриальное представление о разрушении природы и делает нас слепыми в отношении менее видимых современных технологий контроля, которые подразумевают даже более мощные способы разрушения. Но вместо общей критики контроля у нас есть такие глубинные экологи как Джордж Сешнэ и Арне Нэйсс, поддерживающие в принципе или на практике генную инженерию.

Тем не менее, ключевой вопрос все больше скрывается менее важными вопросами, нам необходимы большие области дикой природы, большие среды обитания, а не больше технологической информации о больших областях дикой природы. Почему не работать над тем, чтобы выделить обширные области, где мы будем ограничивать все формы человеческого влияния: никаких природоохранных стратегий, никаких спроектированных областей дикой природы, никаких дорог, никакого наблюдения со спутников, никаких облетов на вертолете, никаких радиоошейников, никаких измерительных приспособлений, никаких фотографий, никаких данных GPS, никаких баз данных, заполненных расположением каждого пятнышка на вершине горы Моран, никаких путеводителей, никаких топографических карт. Пусть любая среда обитания, которую мы можем сохранить, как можно больше возвращается к своему собственному порядку. Пусть дикая природа снова станет белым пятном на наших картах. Почему радикальные организации, защищающие окружающую среду, не борются за это? Я подозреваю, что значительная часть ответа состоит в следующем: в этом нет денег, и подобно всем неприбыльным предприятиям, им нужно много денег просто для того чтобы выжить, не говоря уже о том, чтобы добиться осуществления цели.

Существует два смысла слова «preservation» (сохранение, заповедание), и большинство усилий по заповеданию следуют первому: сохранению вещей. Другой смысл — это сохранение процесса: оставление вещей в покое. Дуг Пикок представляет второй смысл с большой ясностью, называя биологию «Биофак» (от англ. fuck) и говоря «Оставьте этих хреновых медведей в покое». Это повторяет Эбби: «Пусть бытие будет», цитата из Хайдеггера, который украл ее у Лао-Цзы:

“ «Вы хотите улучшить мир?

Я не думаю, что это можно сделать.

Мир священен. Его нельзя улучшить.

Если вы вмешаетесь в него, вы разрушите его. Если вы будете обращаться с ним, как с объектом, вы потеряете его.

... Мастер видит вещи, как они есть, не пытаясь контролировать их. Он позволяет им идти своим собственным путем, и живет в центре круга».

Хотя большая часть общественности верит в этику заповедания, оставление вещей в покое определенно является новой традицией меньшинства среди сторонников заповедания. Но внимательно рассмотрим предостережение о том, что «Если вы вмешаетесь в него, вы разрушите его. Если вы будете обращаться с ним как с объектом, вы потеряете его». Это восходит к самому сердцу того, что я называю «абстрактным диким» — дикости, объективированной и профильтрованной через концепции, теории, институты и технологию.

Что если воздействие научных экспертов, создающих окружающую среду, воздействующих на экосистемы и управляющих видами является (иногда, даже всегда?) таким же плохим или худшим, чем воздействие неуправляемой природы? Короче говоря, оставьте в стороне вопрос о том, следует ли нам управлять природой? И спросите: «Насколько хорошо управление природой работает в действительности?» Экологи склонны не говорить об этом из страха оказать помощь врагу, но предмет требует тщательного исследования.

В эссе, озаглавленном «Вниз с пьедестала: новая роль для экспериментов», Давид Эренфельд, бывший многие годы редактором «Природоохранной биологии», представляет несколько примеров неудачи прогнозов в экологии и печальных последствий для природных систем. Рассмотрим, например, интродуцирование опоссумной креветки в северо-западные озера с целью увеличить продуктивность лосося кокани. «Эта история является сложной, связанной с нагрузкой питательных веществ, уровнями воды, одноклеточными водорослями, разнообразными беспозвоночными и озерной форелью, которые взаимодействуют между собой. Но конечным результатом было то, что популяция лосося кокани стало сокращаться, а не увеличиваться, и это в свою очередь оказало воздействие на популяцию лысых орлов, разнообразные виды чаек и уток, койотов, норки, речных выдр, медведей гризли и людей — посетителей национального парка Гласир». В самом деле, продолжает Эренфельд говоря, что «биологическая комплексность с ее множеством внутренних и внешних переменных, с ее незавершенностью отодвигает экологию и менеджмент дикой природы немного ближе к экономике... к концу спектра надежности экспертов».

Экономика? Действительно? И это от одного из столпов природоохранной биологии? Мы должны верить менеджмент природы экспертам, которые по надежности сродни экономистам? Это немного умаляет блеск повестки дня воссоздания природы, не правда ли? Я бы не позволил им хозяйничать на своем переднем дворе.

Экологов сравнивают с экономистами из-за их проблемы с предсказанием. Предсказание (думают некоторые) представляет собой сущность науки. Нет предсказания, нет науки; плохое предсказание — плохая наука. Если (согласно этой точке зрения) биологические науки не могут породить точных, проверяемых, количественных предсказаний, то они вполне встали на путь присоединения к слабым наукам, скажем, к астрологии. Хорошо, если

ваше представление о хорошей науке требует количественного предсказания, в частности долгосрочных количественных предсказаний, тогда все науки выглядят несколько слабыми, особенно экология.

Историк экологии Дональд Ворстер в своем эссе «Экология порядка и хаоса» отмечает, что «несмотря на очевидную сложность своего предмета, экологи были в числе тех, кто медленнее всего присоединился к междисциплинарному исследованию хаоса». Это не совсем справедливо. Роберт Мэй, эколог-математик из Оксфорда, является одним из пионеров теории хаоса, и его книга «Стабильность и комплексность в модельных экосистемах» остается классикой. Но точка зрения Ворстера по-прежнему является содержательной и можно подозревать, что отсутствие открытости экологов в своем предмете, вероятно, имеет что-то общее с вызывающими беспокойство последствиями практического применения их дисциплины — и следовательно они платят по счетам. Они продолжают придерживаться надежды на лучшие компьютерные модели и большее количество информации, но как сказал Брехт в другом контексте: «Если вы по-прежнему улыбаетесь, значит вы не поняли новостей».

Большая часть быстро растущей литературы о хаосе и сложности либо является журналистикой, либо крайне технична. Большую важность для радикального мышления относительно окружающей среды имеют философские следствия хаоса и сложности, и их воздействие на те биологические дисциплины, от которых мы зависим в управлении политикой в области окружающей среды. Отличным исследованием является работа Стивена Х. Келлерта «По следам хаоса: непредсказуемый порядок в динамических системах», которая показывает, как показывает и пример Эренфелда, что проблемы, стоящие перед практическими применениями экологии и биологии, являются более ужасными, чем эти дисциплины готовы допустить. Относительно воздействия теории хаоса на экологическую теорию обязательным для чтения является работа Стюарта Л. Пимма «Нелинейная динамика, странные аттракторы и хаос» в «Равновесие природы? Экологические вопросы сохранения видов и сообществ», отрезвляющая книга для каждого, кто верит, что эти вопросы либо поняты, либо мы имеем достаточно эмпирических данных чтобы делать разумные выводы относительно долгосрочного менеджмента экосистемы.

Многие биологи и экологи верят в то, что автономия природы представляет собой наивный идеал, и что мы должны сейчас попытаться контролировать Землю. Ирония в том, что эта точка зрения широко распространена, несмотря на недавнюю работу по нелинейной динамике, которая демонстрирует талант природы к самоорганизации; в самом деле, ее талант организовывать саму себя до критических состояний, которые непредсказуемо распадаются с лавинами тех самых событий, которые так беспокоят нас — землетрясений, стихийных пожаров, вымирания видов, эпидемий. В самом деле, многие природные системы кажутся склонными к неравновесию (или я бы сказал — дикости). Некоторые из крупнейших, самых катастрофических событий — таких как пожары Йеллоустоуна в 1988 году, именно и являются непредсказуемыми событиями, которые представляют собой ключ к формированию растительной архитектуры, базовой для порядка экосистемы. И все же это те события, которыми мы больше всего желаем управлять.

То, что возникает из недавней работы по хаосу и комплексности, это окончательное расчленение метафоры мира как машины, и возникновение новой метафоры — взгляда на мир, который характеризуется жизнеспособностью, взгляда, который близок к чувству дикого у Торо, взгляда, который конечно далеко выходит за его пределы, но который он, несомненно, нашел бы восхитительным. Вместо огромной машины значительная часть природы оказывается собранием динамических систем, во многом похожих на вихревые линии в водопаде Лава Фоллз, где описание турбулентности представляет собой нелинейное дифференциальное уравнение, содержащее комплексные функции со «свободными» переменными, которые делают невозможным решение (в закрытой форме). Такие природные системы являются нестабильными, они никогда не приходят в равновесие. (Байдарочники знают это на своем теле). Они являются аperiодическими, подобно погоде, они никогда не повторяются, но всегда порождают новые изменения, одним из наиболее важных из которых является эволюция. Жизнь развивается на краю хаоса, в области максимальной жизнеспособности и изменений.

Динамические системы, характеризующиеся хаосом и комплексностью, все же имеют порядок, и этот порядок может быть описан математически. Они являются детерминистическими, и мы можем (обычно) рассчитать вероятности и сделать качественные предсказания о том, как система будет вести себя в общем. Но при хаосе и комплексности научные знания опять же оказываются ограниченными, способами, похожими на ограничения неполноты, неуверенности и относительности.

Это не означает конец науке, все, что действительно выпадает, это долговременное количественное предсказание, и это воздействует на большинство наук в первую очередь в одном отношении: контроль. Но здесь корень проблемы. Как сказал Джон Ралстон Сол: «Сущность рационального руководства — это контроль, оправдываемый компетентностью». Без контроля нет компетентности. Биологические науки утратили свое руководство в природоохранной этике. Традиция «заповедания как менеджмента», которая началась с Леопольдом, заканчивается, потому что мало оснований доверять экспертам в принятии долговременных решений о природе.

Что происходит с рациональностью управления видами и экосистемами без точного предсказания и контроля? Если микрочастицы экосистемы от сосудистых потоков до генетического сдвига и турбулентности, плюс все природные потрясения в экосистемах — погода, пожар (фронт стихийного пожара является рекурсивным), ветер, землетрясение, лавины — если все это проявляет хаотичное или комплексное поведение, и некоторые организуются на глобальном уровне в критичечкие состояния, приводящие к катастрофическим событиям, и более того, если такое поведение не дает возможности долгосрочных количественных предсказаний, тогда не является ли менеджмент экосистем несколько притворным? Менеджмент гризли и волков в лучшем случае карикатурой? Если экосистему нельзя познать или контролировать с помощью научных данных, тогда почему мы просто не можем все говорить о здоровье и целостности экосистем, и честно признать, что это просто общественная политика, а не наука?

Значительная часть лучших интеллектуальных трудов нашего столетия привела к признанию разнообразных ограничений в науке и математике — систем аксиом,

наблюдений, объективности, измерения. Это должно было оказать смиряющий эффект на всех нас, и границу наших знаний должны определять ограничения нашей практики. Биологические науки должны определять ограничения нашей практики. Биологические науки должны провести границу своего действия в областях дикой природы — ядро области дикой природы, области дикой природы, определенной в соответствии с Актом об областях дикой природы, любые области дикой природы — по тем же самым причинам ученые атомщики должны признать границы игр с атомом, а генетики должны признать границы игр со структурой ДНК. Мы не настолько мудры и не можем такими быть.

Вопросом является не легитимность науки в целом и не легитимность конкретной научной дисциплины, но уместные ограничения, которые должны быть поставлены для любой научной дисциплины в свете ограниченных знаний. Игнорировать эти ограничения означает отказываться от смирения и подрывать основания движения заповедания. Понятие этих ограничений и представление себе новой природоохранной этики, основанной на дикости, и смиренные, осторожные, не связанные с вмешательством практики, объединили бы интуитивное представление Торо о том, что «в дикости состоит сохранение мира» и традиции древней мудрости с интуитивными представлениями большинства радикальных любителей дикой природы, экофеминисток и передовых математиков и физиков. Это также утешительно, как и очаровательно.

Любое знание имеет свою тень. Прогресс биологических знаний о том, что мы называем природным миром одновременно продвигает вперед процессы нормализации и контроля, вызывающих эрозию дикости, которая возникает из собственного порядка природы. Того самого порядка, который предположительно является смыслом заповедания. В ядре современного объединения заповедания и биологической науки, наследия Леопольда, лежит противоречие. Мы стоим перед выбором, который является фундаментально моральным. Игнорировать это — это простая трусость. Должны ли мы воссоздать природу в соответствии с биологической теорией? Должны ли мы принять дикое?

Аура дикой природы

Моё понимание ауры дикой природы коренится в давних впечатлениях от впервые увиденных мною фигур в Лабиринте национального парка Кэнионл Энд и эссе Уолтера Бенджамина, пользующегося заслуженной славой: «Произведение искусства в век механического воспроизведения». Всё началось с такого случая.

Я стоял в комнате для медитаций в монастыре Хемис в Ладахе, наблюдая, как немецкий профессор — тибетолог читает лекцию туристам своей группы. Туристы других групп, владевшие немецким языком, пытались, с большим или меньшим успехом, переводить своим товарищам его комментарии. Два тибетских монаха, стоявшие за ним, молча смотрели на толпу немцев, американцев, французов, японцев, — всего, пожалуй, человек восемьдесят, вооружённых фотоаппаратами, вспышками, видеокамерами, плеерами. У старшего монаха на лацкане его красно-коричневого монашеского одеяния красовался белоснежный значок компании Пан Америкен. Младший выглядел напуганным.

Через некоторое время стало ясно, что кульминацией профессорской лекции будет первый публичный показ особо священной танка, полотняного свитка с изображением могущественного тибетского божества. До этого момента его можно было видеть только раз в году, только монахам Хемиса во время особой религиозной церемонии. Сияющий профессор попросил старшего монаха открыть занавес, закрывавший танку. Старший монах повернулся к младшему, тот в ужасе застыл. Тогда профессор закричал, старший монах закричал, и молодой в конце концов раздвинул-таки грязную штору. Когда комната взорвалась вспышками, и щёлканьем фотоаппаратов, и стрекотаньем видеокамер, молодой монах помертвел, парализованный страхом, ожидая справедливого наказания за своё святотатство. Но, естественно, объективно ничего не произошло. Профессор улыбался, все (и я тоже) вытянули шеи, чтобы лучше видеть, и Земля продолжала вращаться на своей оси.

Позднее я вспомнил отрывок из эссе Бенджамина:

«Олень, нарисованный художником каменного века на стене пещеры, был инструментом магии. Художник тот показывал изображение своим соплеменникам, но предназначалось оно, главным образом, духам. Сегодня культовые ценности должны оставаться сокрытыми. К некоторым статуям богов допускаются только священники в алтаре; иные статуи мадонн закрыты почти круглый год; определённые скульптуры средневековых храмов остаются невидимыми зрителю на уровне пола. По мере эмансипации многие виды искусств, бывшие когда-то ритуальными, получают все больше возможностей представить свою продукцию широкой публике».

Картина, которую я наблюдал в тот день в монастыре Хемис, представляла как раз переход объекта от ритуала к выставке. Объект сохранился; не сомневаюсь, что он и по сей час находится там же. Однако что-то всё же изменилось, что-то, что отражается только в человеческом восприятии, к примеру, в восприятии того молодого монаха. Точно так же и

Лабиринт с его восхитительными наскальными росписями сохранился, но для меня что-то навсегда утеряно, качество моего восприятия этих фигур, — то, что Бенджамин называет «аурой» произведения искусства или ландшафта: «его присутствие во времени и пространстве, его единственность, уникальность его существования в том именно месте, где ему случилось находиться».

В своём эссе Бенджамин исследует два процесса, в результате которых аура убывает. Оба они «связаны со всё возрастающей ролью масс в современной жизни. В частности, желание современных масс сделать вещи более «близкими» как в пространственном смысле, так в человеческом восприятии, желание настолько же горячее, как и их стремление преодолеть уникальность каждой реалии путём её массового воспроизведения». Главное средство воспроизведения — фотография; главное средство приблизиться к миру природы и культуры — массовый туризм. Пиктограммы и Лабиринт пошли по этому пути.

Бенджамин приводит также и разные негативные воздействия, которые оказывает потеря ауры на произведение искусства: она размывает его аутентичность, подрывает его авторитет, разрушает традицию, снижает важность ритуала, и что, пожалуй, наиболее важно, — «качество его присутствия всегда обесценивается». Вот это последнее следствие для меня — самая суть дела. Если я заинтересован в охране природы, то речь идёт о сохранении этого эффекта колдовской силы присутствия — ландшафта, произведения искусства, флоры, фауны. Это гораздо сложнее, чем просто сохранить физически места обитания или отдельные виды, а потом, после того, скажем, как мы успешно сохраним биологическое разнообразие, — могут предположить некоторые, — прибавить и ауру. Но нет, всё как раз наоборот: потеря ауры и эффекта присутствия и является той главнейшей причиной, почему мы теряем так много дикой природы.

Воспроизведение с помощью фотографии и массовый туризм стали теперь повсеместными и заурядными, они снижают множество качеств, и это множество значительно шире, чем наше восприятие только произведения искусства (включая, впрочем, и его): они поражают ауру, — но в то же время и дикую природу, дух, вдохновение, священные места, магическое, святое, — и саму нашу душу. Мы понимаем эти термины интуитивно, — они не поддаются чёткому определению, анализу, измерению, потому что они касаются нашего восприятия материального мира, а не самого материального мира. Поэтому их и исключили из рационального рассмотрения проблем охраны природы, и нам очень трудно сообразить, как же всё-таки сохранить их в сфере нашего восприятия. Не больно-то много вы сможете прочесть об этом в специальных изданиях типа Art Forum, Sierra или Conservation Biology.

К сожалению, эти свойства заслуживают не меньшего, если не большего внимания, чем вырождение дикой природы и снижение биологического разнообразия, поскольку вырождение второго коренится в вырождении первого. Мы обращаемся с природой согласно нашему представлению о ней и восприятию её. Без ауры, без естественной, нетронутой природы, без магии, духа, святости, божественного присутствия, без души, наконец, — мы относимся к флоре, фауне, искусству, ландшафту, ресурсам как к развлечению. Забаве. Их важность для нас — только дань текущей моде.